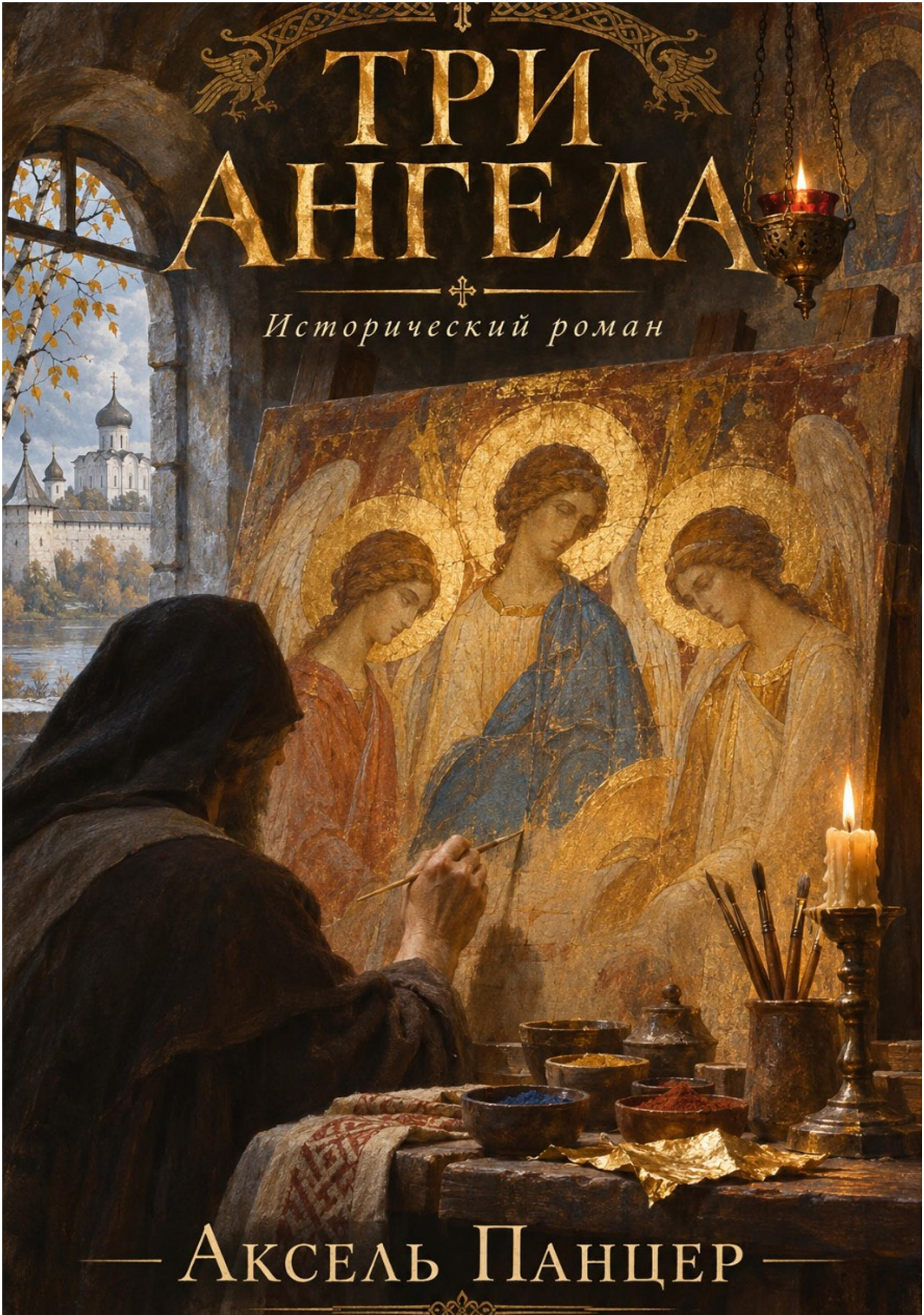

ТРИ АНГЕЛА
Исторический роман
Аксель Панцер

Аксель Панцер

Три ангела. Исторический роман

«Автор»
2026

Панцер А.

Три ангела. Исторический роман / А. Панцер — «Автор», 2026

Можно ли написать свет, когда вокруг — пожары, страх и человеческое горе?Андрей Рублёв ещё не знает, каким станет его имя. Он учится видеть то, мимо чего проходят другие: усталость в глазах путника, боль на лице незнакомца, милосердие, которое не выразить словами. Рядом — суровый наставник Савватий, дерзкий Феофан Грек, верный Даниил Чёрный. Каждый помогает ему найти собственный путь, но ни один не может прожить его за него.Москва и Владимир, монастырские мастерские и дороги разорённой Руси, великие росписи и судьбы простых людей. Война и утраты заставляют Андрея усомниться в самом смысле своего искусства. Как писать святые лики, если мир полон страдания? И может ли изображение дать человеку не страх перед судом, а надежду?«Три ангела» — исторический роман о цене таланта, верности, сострадании и долгом пути к созданию «Троицы». О художнике, который искал не славы — света, способного остаться с людьми.

© Панцер А., 2026
© Автор, 2026

Аксель Панцер
Три ангела. Исторический роман

ТРИ АНГЕЛА
Исторический роман
Аксель Панцер

В четырёх частях
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
УЧЕНИК
ГЛАВА ПЕРВАЯ
СВЕТ

Снег выпал ночью, когда ветер, весь вечер гонявший вдоль монастырской ограды прелые листья, наконец утих. Перед сумерками дорога была ещё чёрной и тяжёлой от воды, а утром на крышах келий, на кольях частокола и на поленнице у трапезной лежала белизна, от которой знакомый двор показался Андрею неузнаваемым. Под крыльцом снег был синеват, у тёплой стены — сер, возле раскрытой двери пекарни на нём лежало слабое золотистое пятно. Солнце не показалось над лесом, а свет уже менял всё, чего касался.

Андрей остановился на ступени, поправил съехавший ворот и протянул ладонь под свес крыши. Холодная крупица растаяла у него на коже. Мимо прошёл брат Пахомий с вязанкой дров, оставляя широкие следы. У колодца скрипнул ворот; где-то за оградой окликнули лошадь. Над крышами поднимался редкий дым, и в нём утренний свет терял свою ясность. Андрей всматривался, как дым пересекает белое поле двора: там, где он проходил, снег словно тускнел, хотя никакой тени не было.

— К службе, — сказал Савватий за его спиной. — Снег и после службы останется.

Старец стоял, упираясь в посох, с тем привычным суровым выражением, которое обмануло бы человека незнакомого. Андрей молча показал ему мокрую ладонь и перевёл взгляд на двор. Савватий проследил за его глазами, но ничего не увидел такого, ради чего следовало задерживать утреннее правило. Только когда Андрей, не удержавшись, заметил, что снег возле печной трубы совсем иного цвета, чем у ограды, старик взял его под локоть и повёл к храму.

— Увидел — помни. Застудишь руки — не напишешь ничего.

Во время службы Андрей пытался слушать чтение, а всё же замечал, как на лицах стоящих у стены братьев выступали бледные полосы света. Ему было стыдно собственной рассеянности. Особенно тяжело стало, когда старый монах рядом с ним, устав стоять, прислонился плечом к столбу. Солнечная полоса легла тому на впалую щёку, и Андрей невольно подумал не о молитве, а о том, какой краской следовало бы передать эту впадину. Он опустил глаза и с усилием вернул внимание к службе. Доска с незаконченным ликом, ожидавшая в мастерской, тревожила его ещё со вчерашнего дня.

После трапезы он поспешил туда прежде остальных. Палатой называли невысокую комнату возле хозяйственного двора: два узких окна, тяжёлая печь, столы, на которых к утру застывал клей, и полки с глиняными чашками для красок. Здесь пахло липовыми досками, яичным желтком, сухой охрой и дымом. На широкой плите Савватий уже растирал киноварь; камень под его ладонью шёл мерно, с сухим шелестом. Тому, кто не знал старика, движения могли показаться медлительными, но Андрей видел: ни одного лишнего. Савватий берег силы, которых с каждой зимой оставалось всё меньше.

В углу Фома старательно выводил кистью руку архангела. При появлении Андрея он приподнял доску, будто желая скрыть работу; с мокрого края сорвалась капля и упала на стол. Савватий даже не обернулся.

— Прежде чем писать персты, научись держать чашку, — сказал он. — Третий день ангел твоей милостью без руки.

Фома нахмурился, но промокнул край полотняной тряпицей и продолжил писать. Андрей невольно улыбнулся. Ещё год назад он сам боялся каждого замечания Савватия; теперь больше боялся тех долгих минут, когда старик молчал над его доской.

На его месте стояла небольшая икона, заказанная московским человеком для домашней моленной. Имени заказчика Андрей не запомнил, зато помнил, как тот недовольно поглядывал на ещё сырые доски и дважды спрашивал, не опоздают ли к обещанному сроку. Полученные за заказ деньги пошли на клей, масло для светильников и зимние припасы. Поэтому Савватий доверил Андрею не упражнение, которое можно без жалости соскоблить, а работу, за которую отвечала вся мастерская. Одежда святого и фон были почти закончены; лицо, положенное на тёмный санкирь, ещё ждало первых высветлений.

Андрей подвинул доску к окну. Краска схватывалась быстро, и ему приходилось всякий раз примерять силу мазка раньше, чем кисть касалась левкаса. Он начал со лба, наметил переносицу, мягко положил свет на скулу. Привычная последовательность успокаивала руку, пока за окном не послышался удар топора. Пахомий колол дрова, то распрямляясь, то наклоняясь над чурбаном. С каждой переменой позы свет по-иному обходил его лицо. Когда брат повернулся к стене, нос оставил на щеке короткую тень, а глаз, только что ясный, ушёл в глубокую впадину.

Андрей поставил кисть ребром на дощечку. На образе та же щека оставалась ровной: свет обозначал святой лик, но не открывал его человеческой плоти. Он посмотрел на Пахомия, потом снова на икону. Ему вспомнилась утренняя впалая щека старого монаха. Неужели живое лицо, которое Господь создал со всеми его чертами, должно исчезнуть под привычными линиями письма? Андрей не нашёл ответа, но разжижил охру, осторожно провёл ещё одну плавь и оставил у глаза немного более тёмную тень.

Сразу стало видно то, чего прежде не было: взгляд приобретал глубину. Андрей отодвинулся, потом придвинулся опять, стараясь не поспешить. Свет на доске больше не просто отмечал лоб и скулу — он словно обходил округлость щеки. Одного удачного мазка оказалось мало. Хотелось сделать второй, исправить переносицу, обозначить впадину у рта. Он так увлёкся, что не услышал, когда прекратился шорох куранта.

Савватий велел отойти от стола. Не повысил голоса, но Андрей вдруг почувствовал в руке тяжесть тонкой кисти и послушно отступил. Старец перенёс икону на противоположный край скамьи, туда, где свет падал ровнее, долго смотрел и лишь затем поставил её обратно. Фома перестал работать. Всё, что до сих пор было обыкновенной утренней работой, стало ожиданием суда.

— Удачно вышло, — произнёс Савватий наконец.

Андрей поднял голову. Таких слов от старика он почти не слышал.

— Только ты мне скажи, кого теперь видит человек прежде: святого или твою умелую руку?

Вопрос обидел сильнее прямого запрета. Андрей принялся объяснять, что тень возле глаза не выдумана, что всякий может увидеть её на лице человека, стоящего у окна. Савватий слушал без раздражения. Он даже согласился с тем, что человеческая щека кругла, а глазница глубже лба. От этого Андрею стало ещё труднее: учитель не спорил с увиденным, но вовсе не считал, что всё увиденное следует переносить на образ.

Старец поставил рядом другую, давно законченную икону. Письмо там было сдержанным; ни одна плавь не требовала внимания к себе. Андрей знал этот образ с детства и прежде

не замечал его простоты. Теперь он перевёл взгляд с одной доски на другую. На новой иконе лицо казалось ближе, но глаза невольно задерживались на тех местах, где он сам так удачно положил краску. На старой — взгляд почти сразу встречался со взглядом святого.

— Я не велю тебе забыть глаза, — сказал Савватий. — Я хочу, чтобы ты помнил, ради чего берёшься за кисть.

— Заказчик ждёт образ, а не твоего умения, — сказал Савватий, возвращая доску на стол. — Когда он его возьмёт, нас с тобой рядом не будет. Не сможем объяснить, где ты ошибся и где был прав.

— Я думал, ему будет легче молиться, если лицо не покажется чужим, — произнёс Андрей.

Сказав это, он сам услышал, как неуверенно прозвучала мысль, которую ещё час назад защищал с таким жаром.

Старик не ответил сразу. Поставил у стены старую икону и вытер от краски указательный палец. Ему тоже хотелось, чтобы заказанный образ был принят; он только не позволял себе ради этого забывать об опасности красивой удачи.

Андрей не ответил. Ему хотелось удержать найденное, и он злился на себя за эту радость. Пусть старик говорил о гордости — ведь можно же усердно работать и не гордиться, можно искать верного письма, не забывая молитвы. Но он не мог не признать: когда на доске выступила живая округлость щеки, прежде всего его обрадовало, что это сделал он.

Заняться приготовлением красок было вовсе не легче, чем писать. Савватий потребовал перебрать охру, просеять слежавшиеся комки, промыть чашки и проверить клей, приготовленный утром. Андрей взялся за дело неохотно. Он так и не понял, чем обидел старика, и оттого слышал в каждом замечании упрёк. Когда в клей попала соринка, Савватий заметил её сразу, выловил кончиком щепы и велел начать заново. Андрей сдержался, хотя от возни с липкой массой руки замёрзли сильнее, чем утром на дворе. Фома, которому поручили промыть кисти, тоже был недоволен: за один час он не приблизился к своей архангеловой руке ни на волос. Старик не утешал никого.

Однако, когда работа была окончена, Савватий принёс с полки старую, негодную доску. По краю её шли трещины, местами открывалось дерево, а на потускневшем фоне виднелись следы десятка исправлений. Андрей прежде принимал её за ученицкую пробу и не спрашивал, кому она принадлежала. Теперь старик показал место, где когда-то снял слишком толстый слой краски: вместе с ним ушёл левкас. В щель попала влага, и образа уже не удалось сохранить. Савватий поспешно поставил доску обратно, не сказав, чьей рукой была испорчена старая работа. Андрей больше не стал спрашивать. Стало ясно, почему старик предпочитал недописанный лик испорченному и почему ему не нравилась торопливая радость учеников.

Савватий вернулся к киновари, а после долгого молчания добавил, не поднимая головы, что хорошая работа не станет хуже от одного дня ожидания. Икону он не велел стирать. Только оставил на столе другую доску для Фомы и приказал обоим заняться приготовлением красок. Андрей послушался. Руки работали, а мысли оставались возле ещё влажного лика. Несколько раз он искал глазами место у окна и всякий раз замечал, что Савватий тоже поглядывает туда. Старик сомневался. Это открытие не принесло облегчения, но заставило Андрея меньше сердиться.

После полудня Андрей понёс воду к трапезной. За ночь снег осел; возле колодца под ногами проступила грязь, и верёвка, намокнув, оставляла на ладонях тёмные следы. Когда ведро поднялось, на дрожащей поверхности воды показалось его лицо. Андрей наклонился, и отражение вытянулось, распалось от ветерка на отдельные пятна. Он перестал искать в этом загадку, потому что у ворот услышал детский плач.

Привратник разговаривал с пришлыми людьми — старым мужиком, женщиной и мальчиком в сапогах не по ноге. Их одежда подсохла пятнами; должно быть, они шли с самого

рассвета. Женщина просила впустить их погреться до вечерней дороги, но привратник отказывался решать без благословения старшего. Мальчик пытался скрыть дрожь, прижимая руки к подмышкам. Он не плакал навзрыд — только изредка втягивал носом воздух и опускал лицо, когда мать смотрела на него.

Андрей сперва хотел пройти дальше: в обители был свой порядок, а он нёс воду. Но женщина, заметив, что мальчик теряет терпение, обняла его за плечи и негромко попросила потерпеть ещё немного. В её голосе не было ни жалобы, ни уверенности; она говорила так, как человек говорит самому себе, когда другого выхода не осталось. Андрей поставил ведро у стены и подошёл к привратнику. Попросил передать келарю, что в трапезной остался хлеб и горячая вода. За чужого человека он не имел права обещать ночлег, но еду принести мог. Привратник сначала нахмурился, потом уступил: погреться у кухни дозволил и без особого распоряжения.

В кухне было жарко от печи и тесно от людей. Повар, не любивший нежданных гостей, недовольно подвинул к краю стола котелок с оставшейся похлёбкой. Андрей взял деревянную миску, но мальчик протянул руки прежде, чем тот успел поставить её на лавку, и горячее расплескалось по его пальцам. Ребёнок стиснул зубы, не желая заплакать второй раз. Женщина быстро обхватила ему кисти своей ладонью, а Андрей подал влажную тряпицу. Мальчик не выпускал миску, пока мать не обещала, что хлеба хватит и деду, оставшемуся у ворот с узлами. Тогда только он позволил забрать у себя еду.

У Андрея не было права устраивать пришлым людям жизнь. Он мог лишь попросить, чтобы старому путнику вынесли воды и оставили место у печи, если задержатся до вечера. Вернувшись к колодцу, Андрей увидел собственное ведро на том самом месте, где поставил его прежде; вода уже покрылась тонкой ледяной плёнкой. Пришлось опустить ведро вновь. На душе было раздражение — не на путников, а на мелкие обязанности, которые не позволяли ему всё время думать о живописи. От этого раздражения стало не по себе. Он растёр ладонями края ведра, пока пальцы не согрелись, и понёс воду в трапезную, стараясь не расплескать ни капли.

Мальчик вошёл, осторожно переступая порог, чтобы не занести грязи. Женщина попыталась поблагодарить, но Андрей уже поднял ведро. Ему было неловко: утром он так долго рассматривал человеческое лицо как трудную задачу для кисти, а теперь едва не прошёл мимо человека, которому прежде всего требовалось тепло. Он не превращал эту мысль в укор себе — просто отнёс воду и вернулся к обычному делу. На обратной дороге увидел в раскрытой двери кухни мальчика, обеими руками державшего хлеб.

До вечернего правила Андрей ещё раз заглянул к Фоме. Тот сидел над почти завершённой рукой архангела, так сжав кисть, что побелели суставы. Он всё старался сделать пальцы более ровными, а они выходили деревянными, словно их приставили к рукаву позднее. Андрей сел рядом, взял чистую дощечку и показал движение собственной руки: не пальцев по отдельности, а всего запястья, которое ведёт благословляющую кисть.

Фома повторил жест, подняв руку перед собой, и впервые заметил, что нарисованные пальцы не могут соединиться так, как он их поставил. Он не стал благодарить; только вытер мокрую часть и принялся писать снова. Андрей подумал, что старик прав хотя бы в одном: изображение требует не одного зоркого взгляда. Нужно ещё терпение, с которым человек возвращается к собственной ошибке, даже когда никто уже не стоит у него над душой.

К вечеру работа в мастерской стихла. Фома отнёс доску сушиться, Савватий убрал чашки, прикрыл пигменты от пыли и, уходя, задержался у Андрея. Между ними по-прежнему стояла незаконченная икона. Старик не спросил, что тот решил, только проверил ногтем сухость краски у поля и велел не писать при худом свете. Андрей кивнул. После его ухода долго сидел один, прислушиваясь к потрескиванию поленьев в печи. Потом поставил доску ближе к лучине — не для письма, чтобы посмотреть.

В неровном огне тень у глаза то делалась глубокой, то пропадала. Отодвинув лучину, Андрей увидел, как лицо вновь становится строгим и плоским; приблизив — как выступает вперёд скула. Он повторил движение несколько раз, пока не понял: изображение слишком послушно случайному освещению комнаты. Там, где он искал правду живого лица, возникла зависимость от огня и окна. Он не мог назвать это ошибкой, но и не мог оставить без ответа.

Андрей размочил краску чистой водой и осторожно снял лишнюю тень. Мокрый след расплылся шире, чем следовало. Пришлось подождать, пока доска подсохнет, затем вернуть один высветленный участок, ослабить другой. Он работал без прежней радости находки. Несколько раз ловил себя на желании исправить всё сразу и останавливался. Наконец отложил кисть, не вполне довольный: лицо опять стало проще, но то живое выражение, которое он увидел утром, не исчезло совсем.

У двери он задержался. Можно было вернуться и ещё немного смягчить переход возле скулы. Краска позволяла. Он протянул руку к столу, потом опустил её. Для сегодняшнего дня было довольно. Вышел во двор, где снова начинался снег; от слабого света в храмовом окне падала узкая полоса на землю. Ветер бросал в неё хлопья, и каждый на миг вспыхивал, прежде чем уйти в темноту. Андрей стоял и смотрел, не пытаясь решить, какую из этих кратких вспышек можно было бы удержать кистью.

ГЛАВА ВТОРАЯ
МОСКВА

Москва встретила их грязью, теснотой и запахом мокрого дерева. За воротами с самого утра стояли возы: одни только входили в город, другие ждали, пока освободится дорога. Лошади тянули, скользя на подмёрзшей колее, возчики ругались и подсовывали под колёса щепу. Между повозками пробирались люди с корзинами, охапками хвороста, свёртками полотна. От торговых рядов шёл пар; возле деревянной церкви нищий грел руки под полой ветхого кафтана. Андрей замедлил шаг, и Савватий, уже прошедший вперёд, обернулся.

Старец не любил московской сутолоки. Ему требовалось передать письмо, забрать заказанные краски, осмотреть липовые доски, если торговец сумел достать сухие, и к вечеру найти ночлег. Андрей знал их дела, но город всё время сбивал его с дороги. Одна улица открывалась тёмным, тесным проходом между дворами, другая вдруг выводила к церкви, где на белой стене лежал утренний свет. То, что в обители существовало отдельно, здесь сходилось на нескольких шагах: молитва и торговля, богатство и нужда, обгорелый угол избы и новая резная ставня, которую ещё не успели приколотить.

У низкой пекарни мужчина выносил на доске горячие хлебы. На мгновение лицо его заслонил пар, и Андрей увидел только руки — красные, в белой муке, с узкими тёмными полосами у ногтей. За ним показалась женщина, принимавшая хлебы через порог. Она сказала что-то сердитое; мужчина засмеялся, и вдруг всё лицо, до того усталое, изменилось. Андрей поймал себя на привычном желании запомнить этот переход. Но рядом женщина с корзиной поскользнулась на льду и едва удержала яйца; старец подхватил её под локоть раньше, чем Андрей успел двинуться. Когда она поблагодарила, Савватий бросил ученику недовольный взгляд.

— Не все, кого видишь, для твоей доски живут.

Андрей хотел возразить, но промолчал. После вчерашнего разговора о лике замечание было болезненным. Он помог женщине поднять упавшую тряпицу и догнал Савватия, стараясь уже смотреть под ноги. Через несколько шагов взгляд опять ушёл в сторону: вдоль глухой стены тянулись деревянные навесы, а под ними гончар расставлял кувшины. На глине, холодной и тусклой с теневой стороны, солнечный свет вдруг выступал розовым. Гончар, заметив интерес монаха, ловко приподнял сосуд за узкое горло.

— Хорошая вещь, отец. Не протечёт.

Андрей повернул кувшин и почувствовал под пальцами тонкие неровности обжига. Он хотел спросить, как удаётся сохранить округлость в изображении, но вовремя удержался. Гон-

чар видел в сосуде меру глины и труд рук, Савватий — ненужную остановку, а он сам — свет и тень, которыми передавалась форма. Каждый был прав в своём деле. Андрей поставил кувшин обратно и пошёл дальше, всё же унося с собой зрительный след от тёмного края горлышка.

На перекрёстке между рядами их задержала чужая ссора. Парень в коротком кафтане привёз на продажу пучки восковых свечей; нанявший его торговец утверждал, что тот уронил часть товара и теперь должен отработать недостачу. Парень стоял, опустив руки, и не возражал — видно, давно привык, что за него решают другие. Савватий хотел пройти мимо: вся Москва жила взаимными долгами, и посторонний монах не мог рассудить всякий спор. Но Андрей увидел, что на краю повозки свечи действительно поломаны, только не от падения, а от того, что их связали слишком туго. Он сказал об этом торговцу. Тот огрызнулся и потребовал не вмешиваться.

Старец уже потянул Андрея за рукав, однако не увёл. Он сам поднял одну связку и, не говоря ни слова, показал место перелома. Торговец был человеком опытным, не желал уступать на глазах у соседей; сперва рассердился ещё сильнее, потом, когда вокруг стали останавливаться покупатели, сбавил голос и велел парню отнести свечи в лавку. Может быть, через час он опять найдёт к чему придраться. Андрей понимал, что ничего не решил окончательно, но видел, как тот, уходя, распрямил плечи. Савватий недовольно покачал головой. Андрей ожидал упрёка, однако старик сказал только, что прежде чем вступаться за кого-нибудь, нужно разглядеть дело целиком. Хороший глаз и здесь был полезен, но без меры мог причинить вред не хуже дурного письма.

На торгу Савватий задержался возле иконного ряда. Образа стояли под навесом тесно, одни в новых деревянных окладах, другие без всякого украшения. Несколько досок явно торопились закончить: неровно лежала охра на одежде, у одного святого глаза были разного размера, а у архангела рука, благословлявшая зрителя, оказалась слишком длинной. Продавец уверял, что письмо хорошее и потому цена тверда; на просьбу назвать мастера отвечал общими словами. Савватий не стал спорить. Одна доска привлекла его внимание повреждённым левкасом у нижнего края, и он показал трещину торговцу. Тот немедленно прикрыл её ладонью.

Андрей почти не слушал препирательство. Среди икон он заметил небольшого Спаса с потускневшим фоном. Работа была грубее иных, но глаза, написанные не вполне одинаково, удерживали взгляд. В одном читалась строгость, в другом — жалость или, может быть, усталость. Андрей подошёл ближе, и выражение снова изменилось. На доске не было мягких переходов, которыми он так увлекался. Выразительность возникла, похоже, из неровности, которую мастер мог не заметить или не сумел исправить.

Он осторожно спросил, кто принёс икону. Торговец пожал плечами: в Москве образа переходили из рук в руки вместе с прочими вещами; на каждую доску не выспросишь жизни прежнего владельца. Андрей ещё постоял, глядя на потёртый лик. Этот Спас, возможно, долгие годы стоял в доме у печи, видел человеческие радости и беды, потом оказался выставленным на продажу рядом с полотном и солью. Странным образом это обстоятельство сделало его ближе, хотя имя писавшего осталось неизвестным.

Савватий уже шёл к следующему ряду. Андрей поспешил за ним, а мысленно сравнивал неравные глаза Спаса со своим почти законченным ликом. Он хотел научиться писать живое лицо так, чтобы оно не превращалось в занятную редкость, которую рассматривают на рынке. Но ни один из встреченных образов не давал готового ответа.

В лавке красок их встретил Семён — подвижный, щуплый человек, который узнавал постоянного покупателя ещё по стуку сапог у порога. Он радостно назвал Савватия старым ворчуном, усадил у стены и тут же принялся оправдываться за цену киновари. Торговля началась прежде, чем слуги принесли мешочки с пигментами. Охра оказалась хорошей: Савватий растёр щепоть между пальцами, посмотрел на свет и удовлетворённо кивнул. Киноварь он

проверял дольше. Прошлая покупка потемнела в работе, и теперь старик не собирался снова отвечать перед заказчиком за чужую жадность.

Пока хозяин спорил с Савватием, в глубине лавки сидела девочка, нанизывавшая на нитку небольшие мешочки для красок. Работа была такой тонкой, что ей приходилось склоняться почти к самому столу.

Семён окликнул её, попросил принести старую мерку, и она поднялась, потирая затёкшие пальцы. Андрей увидел, что ещё немного — и в ладонях у ребёнка останутся только царапины от грубой нити. Он вспомнил собственную раннюю работу: доски казались тогда тяжелее, чем теперь, а самое трудное поручали тем, кто не имел права от него отказаться. Девочка принесла мерку, стараясь не мешать разговаривавшим мужчинам, и села обратно. В лавке были товары, за которые заказчики платили серебром, и люди, чьего труда почти никто не замечал. Откуда бы ни пришла красная или синяя краска, до кисти она добиралась через десятки чужих рук.

Савватий, закончив спор, достал из котомки маленький кусок холста и велел Андрею собрать просыпавшуюся охру. Андрей хотел было сказать, что в монастыре такой мелочью никто не станет дорожить, но вспомнил девочку за столом. Охра стоила меньше лазури, однако и её надо было добыть, растолочь, привезти, не потерять в дороге. Он тщательно смёл порошок, и Семён впервые за всё время посмотрел на него с уважением. Не как на человека, который знает цену краске, а как на человека, который наконец понял, сколько усилий скрывается за дешёвой горсткой земли.

Семён клялся, что на этот раз камень чистый. Савватий достал из котомки маленький свёрток с остатками прежнего пигмента, положил рядом с новым и молча подвинул оба к окну. Разница была заметна и без спора. Лицо торговца изменилось: оживление пропало, пальцы начали перебирать завязку мешочка. После долгих расчётов он уступил в цене. Для Андрея эта тяжёлая, совсем не красивая возня оказалась поучительнее утренних рассуждений о форме. Ошибка в краске могла погубить труд многих недель, а исправлять её пришлось бы тому, кто честно держал кисть.

На дальнем столе лежал обломок синего камня, тёмного, почти чёрного на изломе и неожиданно светлого у края. Андрей потянулся к нему, но Семён поспешно накрыл камень ладонью. Лазурь была привозной, стоила дорого и уходила главным образом к богатым заказчикам. Старец даже не спросил окончательной цены: в обители нужнее были доски и клей, чем редкая синяя краска. Андрей знал, что Савватий прав, а всё же сожалел. Он видел этот синий цвет рядом с тёплой охрой и не мог избавиться от желания однажды положить их на одну доску.

Пока Семён переписывал покупки и пересчитывал плату, из соседней комнаты вошёл работник с пустой корзиной. Заговорили о строениях великокняжеского двора, о заказах, которые сулили заработок не только иконописцам, но и плотникам, поставщикам золота, каменщикам. Кто-то помянул Феофана Грека. Семён сразу оживился: имя известного мастера привлекало покупателей надёжнее всякой похвалы товару. Андрей поднял глаза. О Феофане он слышал столько противоречивых рассказов, что не мог представить его лица. Одни называли его сердитым, другие — щедрым на шутку; говорили, будто он пишет быстрее, чем работник успевает растирать краски, и будто на стенах его святые смотрят прямо в душу.

— Издали о мастере всегда знают больше, чем он сам о себе, — сухо заметил Савватий. — Запиши лучше, сколько мы тебе остались должны.

Но Семён уже успел сказать главное: Феофан трудился в Кремле, и работа там ещё не была окончена. Андрей молча продолжил складывать покупки. В монастыре он часто представлял, как увидит написанное греком; теперь тот находился на расстоянии нескольких московских улиц, и от этой близости становилось неловко, словно предстояло отвечать за все неумелые мазки, которые он когда-либо положил.

К Кремлю они подошли после полудня. У ворот стража долго разглядывала письмо; Савватию пришлось назвать человека, которому оно предназначалось, и повторить, откуда он при-

ехал. Внутри было не тише, чем на торгу. Каменщики переносили известь, работники волокли доски, стук топоров доносился из-за хозяйственных построек. Кто-то спорил о цене подводы. Андрей ожидал иного — чинного молчания, отделённого от городской нужды, — но княжеский двор держался на том же беспрерывном труде, который виделся утром возле пекарни и лавки красок. Только людей и требовательных голосов здесь было больше.

Савватий передал письмо одному из служителей, а Андрей задержался у храмовой стены. Из узких окон падал негустой свет, внутри пахло известью, воском и сырой древесиной лесов. Работа велась на разных высотах: один мастер накладывал краску наверху, внизу помощник растирал охру, неподалёку кто-то подправлял рисунок углём. Андрей увидел начатую голову святого: линия плеча уже была найдена, лицо только намечалось, но вся фигура каким-то образом держалась на стене уверенно. Он забыл о письме, о Савватии и о том, что зашёл без приглашения в чужую работу.

Не успел Андрей осмотреться, как рядом тяжело стукнуло дерево. На узком проходе между стеной и помостом один из работников задел плечом длинную доску; та выскользнула из рук, опасно накренилась и едва не ударила мальчика, нёсшего воду. Андрей подхватил конец, пока другой помощник сумел ухватиться за середину. Оба вместе отнесли доску к стене. Мальчик, испугавшись, пролил половину ведра. Старший работник сердито крикнул ему поднять упавшую посуду, но Феофан, ещё не спустившийся с лесов, велел сперва убрать мокрое с прохода. Работать на скользких досках никому не хотелось. В этой короткой сумятице Андрей вдруг ощутил, как хрупко устроена большая живописная работа: одна неосторожность, и краска с помоста окажется на полу, а человек — под доской.

С помоста сверху раздался сердитый окрик. Молодой помощник подал мастеру чашку с краской, в которой оказалось слишком много воды. Тот опустил кисть, увидел, как по стене потянулся жидкий след, и остановил руку. Не закричал, не бросил чашку; только велел принести густой охры и снять неудачное письмо, пока штукатурка позволяет. Помощник покраснел. Ему пришлось спуститься по шаткой лестнице под взглядами нескольких работников. Андрей почувствовал знакомый стыд, будто сам приготовил негодную краску.

Мастер в запачканной одежде слез с помоста, взял другую чашку и, проходя мимо, увидел монаха, который слишком пристально разглядывал начатое лицо. Он был не высок, не величав, борода его уже тронута сединой, а глаза смотрели так внимательно, что Андрей невольно выпрямился. Незнакомец спросил, зачем тот стоит на проходе. Андрей отступил, но ответил, что пытается понять, куда повернётся лицо на стене.

Мастер поднял голову к рисунку. Там было видно только несколько линий, и Андрей, смущённый собственными словами, показал рукой поворот плеча и место, где должна лечь тень от щеки. В окне напротив белел поздний свет, и Андрей добавил, что лицо, если его повернуть немного к свету, станет выразительнее. Незнакомец не перебил. Поставил чашку на скамью, приблизился к стене и провёл концом кисти возле намеченного лба, не касаясь штукатурки.

— На стене иной свет, — сказал он. — Не тот, что сегодня из окна. Завтра солнце уйдёт, а образ останется.

— Но человек и при свече видит иное лицо, чем при солнце, — тихо возразил Андрей. — Как же не считаться с этим?

Феофан посмотрел на незавершённый лик, потом на Андрея. На лице его не было насмешки, и оттого начинавшийся спор стал для Андрея ещё труднее.

— Считаться приходится со всем, что видишь, — ответил мастер. — Только не всё увиденное должно остаться на стене. Здесь люди будут стоять и зимой, и летом, и в темноте, когда окно не поможет. Пиши для них, а не для полуденного солнца.

Андрей не сразу нашёл, что ответить. В мастерской Савватия он уже видел, как огонь и солнце меняют написанное лицо; слова незнакомца попали в самое больное место. Ему захотелось возразить, что всякое лицо живёт среди земного света, но тот уже повернулся к помощ-

нику, проверяя, правильно ли размешана новая охра. Мастер уже проверял охру и не оборачивался. Андрей помедлил, прежде чем решиться на последний вопрос. И всё же, прежде чем отойти, он спросил, неужели писать следует то, чего глаз не видит.

Мастер задержал на нём взгляд. Вопрос показался ему не столько дерзким, сколько преждевременным. Он велел Андрею посмотреть на начатый лик ещё раз, но не на выступившую щёку и не на тень под глазом, а на то, куда обращено само лицо. Андрей перевёл взгляд и вдруг увидел: вся фигура была повернута не к окну, а к тем, кто войдёт в храм. От этого поворота менялся смысл даже незаконченных линий.

— Глаз нужен мастеру, — добавил незнакомец. — Только глазом одним не выучишься.

Савватий вернулся в ту минуту, когда Андрей отступал от стены. Увидев собеседника, старик неожиданно потеплел лицом. Назвал его Феофаном, и тот признал Савватия сразу, хотя первое слово произнёс с насмешкой о старых красках и старых привычках. Они обменялись несколькими короткими замечаниями, из которых Андрей понял: знакомство давнее и достаточно прочное, чтобы оба не старались выглядеть лучше перед другим. Савватий только теперь заметил, насколько внимательно его спутник слушает каждое слово. Он положил ладонь Андрею на плечо, представляя его без похвал и предостережений.

Феофан спросил о работе в монастыре. Услышав, что Андрей пишет лики и слишком часто сомневается, грек улыбнулся одними глазами. Он уже видел это сомнение у стены. Но не стал предлагать ни учения, ни места среди помощников. У него подсыхала штукатурка, и каждый лишний разговор отнимал минуты. Отходя к лестнице, он попросил Андрея убрать с прохода мешок с красками: человек, который не замечает ног других работников, легко воображает, будто вся мастерская устроена для его одного взгляда.

Андрей поспешно поднял мешок. Насмешка была заслуженной, и оттого особенно запомнилась. Он смотрел, как Феофан снова поднялся на помост и сразу взялся за повреждённое место. Рука мастера не металась: он решал всё на стене, не останавливаясь после каждого мазка, словно рисунок уже целиком существовал перед ним. Но теперь Андрей замечал и другое — как грек заставляет помощника придержать лестницу, как сдерживает себя, когда краска легла не так, как нужно, как снова проводит линию. Великая работа оказалась трудом со всеми его неудобствами, усталостью и необходимостью отвечать за других.

Задержавшись у дверей, Андрей ещё раз обернулся к стене. Помощник, которого прежде осмеяли за жидкую краску, уже поднялся на помост и теперь осторожно держал чашку у самого края. Феофан не подсказывал ему каждое движение и не наблюдал нарочно, не ошибётся ли тот вновь. Только однажды придержал его локоть, когда в проходе загремело дерево. Молодой работник едва заметно кивнул, и оба продолжили дело. Андрей видел в этом не снисхождение, а необходимое доверие: если мастеру придётся всё время опасаться руки помощника, он никогда не сумеет написать ничего большого. В монастыре Савватий часто сердился на Фому, но тоже возвращал ему кисть. Вспомнив это, Андрей впервые понял, как много общего у двух столь разных наставников.

Обратно они вышли поздно. Дневная грязь подмерзала; в воротах теснились люди, которым хотелось успеть домой до темноты. Савватий, не спрашивая о разговоре с греком, шёл рядом и временами поправлял завязку тяжёлого мешка. Андрей сам взял часть ноши. Прежнее желание расспросить старика обо всём сразу исчезло. Слова Феофана не давали готового правила, и это было непривычно. Не тем был важен встреченный мастер, что умел спорить лучше других, а тем, что, окончив разговор, возвращался к делу и каждым движением отвечал за сказанное.

У одного двора женщина звала ребёнка, который не решался выйти из тёмного прохода. Савватий остановился пропустить подводы; Андрей увидел, как тот, едва держась на уставших ногах, всё же уступил ей место на утоптанной дорожке. На миг вспомнился мальчик у монастырских ворот, ожидавший хлеба и тепла. В Москве было множество лиц, которые он хотел

бы написать, но ни одно из них не могло стать для него только поводом упражнять руку. Эта мысль не выглядела ясной и законченной; она мешала и в то же время заставляла смотреть внимательнее.

Ночлег нашли на подворье при небольшой обители. В общей комнате пахло мокрой шерстью, глиняной печью и кислым хлебом. Савватий уснул почти сразу; Андрей ещё долго лежал и прислушивался к чужому храпу, к стуку снаружи, к редким шагам за стеной. Перед глазами стояли два образа: потемневший Спас на рынке и начатое лицо на кремлёвской стене. Первый был близок своей человеческой неровностью; второй — внутренней собранностью, которой Андрей пока не умел добиться. Где-то между ними находилось то, что он искал.

Он поднялся к окну. За ставней Москва не спала до конца: то отдалённо кричал сторож, то скрипели полозья, то в чьём-то доме заплакал ребёнок. Андрей вспомнил, как Феофан не стал продолжать спор, потому что на стене подсыхала краска. Завтра и ему придётся возвращаться к доске. От этого воспоминания стало спокойнее. Недавняя встреча перестала казаться чудом; впереди была работа, в которой он ещё слишком часто принимал собственное желание за верное решение. Андрей лёг и долго не мог уснуть, но уже не придумывал ответа, который произнесёт при следующей встрече с греком. Он мысленно ставил доску к окну и старался увидеть лицо прежде, чем коснуться его кистью.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ЛИК

Из Москвы возвращались по дороге, схваченной ночным морозом. Колеи застыли, подняв по краям жёсткие гребни, и когда сапог попадал в лужу, тонкий ледок ломался с сухим хрустом. Савватий шёл впереди, медленно, бережно ставя ноги. Котомка с красками давила ему на плечо; Андрей не раз предлагал взять её, но старик уступил только на последнем привале, когда пришлось подниматься на долгий пологий холм. Андрей, принимая ношу, почувствовал, насколько та тяжела. В Москве он думал о цвете, о чужой работе, о словах Феофана; Савватий же все эти часы нёс охру, киноварь и другие покупки, без которых никто в монастыре не смог бы закончить заказанные образа.

Ветер тянул с открытого поля. После полудня мелкий снег пошёл почти поперёк дороги. За серым просветом показалась окраина леса, и Савватий наконец остановился передохнуть. Андрей подумал было спросить, давно ли учитель знает Феофана и что видел у него прежде, но заметил, как старик растирает пальцами плечо, придавленное ремнём. Вместо вопроса он поправил завязку котомки. Савватий искоса взглянул на него и пошёл дальше, не поблагодарив; тому, кто знал его, эта молчаливая уступка значила больше благодарности.

К вечерней службе монастырь показался среди деревьев. Ворота были прикрыты от ветра, над трапезной дымило, колокольный звук падал в морозный воздух тяжело, почти не расходясь вдаль. Келарь вышел им навстречу и первым делом потянулся к мешку. Савватий с некоторым торжеством выложил на стол охру, киноварь, чернь и небольшой свёрток кистей. Келарь пересчитал покупки, сверил с записанной платой, затем спросил о синей краске, которую надеялся получить. Пришлось назвать цену. Старец рассердился: за один кусок дорогого камня можно было купить столько липовых досок, что хватило бы работы на многих братьев. Келарь возразил, что на большом заказе иногда нельзя обойтись без хорошего синего; из-за бедной краски даже усердное письмо потеряет вид.

Оба были по-своему правы. Андрей слушал и думал о лазури в лавке Семёна. Ему было стыдно, что он жалеет о красоте дорогого камня, тогда как келарь каждый день должен решать, чем кормить работников и где добыть воск для храма. Спор кончился не примирением, а обычным монастырским решением: покупки приняли, счета отложили, келарь велел не расходовать новую киноварь без нужды. Савватий вышел сердитым, но уже возле двери повернулся и попросил передать в мастерскую немного лучшего клея. Андрей увидел, что старик сумел выторговать его для работы, не назвав этого особой заслугой.

На следующее утро Андрей пришёл в палату прежде остальных. Печь ещё стояла холодная, в щели окна белел лёд, у стола пахло вчерашним клеем. Незаконченный лик ждал там, где он оставил его перед отъездом. Дорога ничего не изменила на доске, зато Андрей смотрел на неё иначе. Когда в мастерской работали другие, он словно видел прежде всего то, что должно было получиться. Теперь же видел каждый собственный выбор: слишком мягкую скулу, неровный край высветления у глаза, тёмную складку, которую оставил не по необходимости, а по привычке.

Он поставил икону к окну и отошёл почти к двери. Вспомнились два образа, встреченные в Москве, — потемневший Спас на рынке и начатая фигура у Феофана. Грубый Спас удерживал взгляд своей человеческой неровностью; московская роспись ещё не имела законченного лица, но в ней уже чувствовалась собранность. Андрей с досадой ощутил, что его собственный лик находится между ними и до конца не принадлежит ни одному из этих путей. Он потянулся к кисти, но, вспомнив сердитое «не торопись» Савватия, прежде занялся печью.

С растопкой он провозился дольше, чем ожидал: сырая щепа не бралась, дым сперва валил в комнату, а потом, когда дрова разгорелись, пришлось отворить дверь, выпуская едкий воздух. В соседнем дворе брат Митрофан переносил поленья, придерживая их плечом. Одно упало и откатилось в снег. Митрофан поднял его, откинул капюшон, и на секунду свет выхватил из тени усталое, обветренное лицо. Андрей не стал разглядывать, как лежит тень на скуле. Впервые ему показалось важным другое: человек был утомлён тяжёлой работой, и свет только открыл эту усталость, а не создал её.

Савватий пришёл, когда печь уже обогрела палату. Не расспрашивая о дороге и московских впечатлениях, он снял верхнюю одежду, проверил краски на столе и остановился за спиной Андрея. Тот успел сделать лишь несколько мазков, но старик увидел их сразу. Скула стала полнее, у глаза проступила тень; хорошо знакомая строгая линия начинала уступать место выражению, которого раньше не было.

— Это твоя рука? — спросил Савватий.

Андрей кивнул. Прежнее желание объяснять каждый мазок вдруг исчезло. Он ждал запрета и потому не решался сдвинуться с места. Старик придвинул образ к свету, посмотрел сверху, затем сбоку, как смотрел всегда, когда проверял не красоту отдельной линии, а всю работу. Наконец признал, что написано умело, и от этого Андрею стало не легче. Он понимал: умение может стать искушением, если начинаешь писать ради него самого.

Савватий взял чистую тряпицу, вытер край чашки и положил её рядом с иконой. Дело было не в том, мог ли Андрей сделать глаз глубже. Старик видел в этом лике нечто новое, но боялся, что человек перед образом прежде заметит искусство мастера, а уже потом святого. Андрей возразил, что и святой жил человеческой жизнью: старел, уставал, знал страх, видел лица окружающих. Отказаться от этой жизни только ради привычного письма означало бы оставить образ без того, что сам Господь дал человеку. Савватий долго молчал, а затем ответил, что из человеческой жизни следует выбрать главное; иначе доска станет подобием зеркала, которое всякий узнаёт, но никто не умеет прочесть.

Они не убедили друг друга. Андрей видел, как тяжело учителю признавать правоту молодых, а старик, должно быть, видел, что запретом только ожесточит ученика. Наконец Савватий велел поставить икону на край стола до завтра и заняться грунтовкой новой доски. Андрей не послушался сразу. Он ещё несколько минут сидел, держась за кисть, как за право продолжать спор. Потом положил её, потому что понял: работать сейчас значит не искать лучшего, а доказывать старцу собственную правоту.

Пока он работал над свежей доской, Андрей заметил, как быстро портится тщательно приготовленная краска, если забыть о ней даже на короткое время. Он отставил чашку с охрой, чтобы помочь Кириллу поднять липовую доску с пола, и вернулся, когда на поверхности уже натянулась тонкая плёнка. Пришлось снова растирать краску, добавлять воду, проверять её на

обрезке левкаса. Фома поглядывал, стараясь понять, почему Андрей не берёт новую порцию из общей чашки, а возится с остатками. Савватий объяснил прежде, чем тот успел спросить: всё, что человек тратит без нужды, кто-то должен снова добыть и приготовить. После московской лавки эти слова уже не звучали для Андрея обычной стариковской скупостью.

К полудню в палату пришёл Фома с недописанным архангелом. Рука у святого теперь появилась, но пальцы были неровны, и младший ученик уже дважды соскабливал краску возле запястья. Андрей увидел это, когда Фома придвинулся к нему за советом. Ему хотелось указать сразу на все ошибки, но он показал только одну: рукав, из которого выходила рука, был слишком узок для намеченного движения. Фома нахмурился. Переделывать одежду было куда труднее, чем поправить кисть. Он попытался возразить, что и так сойдёт, однако, отойдя к двери, сам увидел несогласованность. Андрей не улыбнулся. Только подал ему влажную тряпицу. Впервые за утро чужая работа казалась труднее собственной.

Потом вошёл игумен. Он не любил вмешиваться в ремесленные дела, но в монастыре всё происходило у него на глазах. Келарь уже говорил о покупке красок, а заказанный московским человеком образ следовало скоро отдавать. Игумен прошёл вдоль столов и остановился у Андреевой доски. Савватий не стал выступать вперёд, хотя Андрей видел, как старик выпрямился и заложил руки за спину.

Игумен посмотрел на лик без спешки. Дольше всего задержался на глазах. Андрей стоял рядом, чувствуя, как неловко пришлись бы сейчас любые оправдания. Наконец игумен спросил, кто позволил ему изменить привычное письмо. Андрей назвал себя: старец разрешил работу, но этого мазка не велел. Тогда игумен повернулся к Савватию. Тот не стал отрекаться от ученика, хотя вполне мог бы; сказал лишь, что за исправность заказа отвечает он сам.

Андрей слышал за дверью шаги келаря и вдруг испугался не гнева игумена, а того, что заказ придётся начинать сначала. Доску долго сушили, проклеивали, покрывали левкасом; Кирилл подгонял её края, Фома приготовлял часть красок. В ней уже находился труд людей, которые не участвовали в его замысле и ничего не должны были терять из-за его упрямства. Если игумен прикажет стереть лик, никто не сможет вернуть этим людям потраченные дни. Андрей стоял перед своей работой, словно перед чужой вещью, которую по неосторожности повредил и теперь не знает, как возместить ущерб. Стыд этот был новым: он относился не только к красоте и к собственному мастерству.

В палате наступила такая тишина, что было слышно, как Фома потихоньку возвращает кисть на место.

— Отвечать будешь не ты один, — сказал игумен Савватию. — Образ принесут в дом, где на него станут молиться. Кому там нужны ваши споры?

— Я не спорить хотел, отче, — сказал Андрей. — Когда стал писать, мне показалось, что лицо можно сделать ближе к человеку. А теперь не знаю, куда от этого уйти.

Игумен посмотрел на него уже без прежней строгости. Перед ним стоял не мятежник, желавший нарушить старое письмо, а иконописец, который оказался менее уверен в себе, чем надеялся.

— Не знаешь — не торопись говорить, будто нашёл ответ, — произнёс он. — У тебя ещё есть время окончить образ как следует. Но чужого ожидания не обмани.

Андрей почувствовал внезапный стыд. До сих пор он представлял перед собой учителей, мастеров, других иконописцев — людей, которые увидят удачу или ошибку письма. О том доме, куда унесут икону, думал мало. Там могли жить дети, больная старуха, человек, вернувшийся после долгой дороги; никто из них не будет разглядывать, насколько умело положена тень возле скулы. Он вспомнил мальчика у монастырских ворот, бережно державшего горячий хлеб, и невольно отвёл глаза.

Игумен не велел немедленно соскоблить новое письмо. Он спросил Андрея, что тот хотел дать человеку, который станет перед этим образом. Ответ не находился. Андрею было легче

объяснить устроение лица, чем собственное намерение. Наконец он признался, что хотел приблизить святого к тому, кто будет на него смотреть, но пока не знал, как сделать это, не обеднив образ. Игумен кивнул: признание не освобождало от ответа, но было лучше дерзкой уверенности. Он распорядился довести заказ до срока и вышел, оставив Савватия самому решить, сколько нового письма можно удержать.

После его ухода работа не возобновилась сразу. Фома делал вид, что ищет пропавшую кисть, Кирилл дольше обычного размешивал клей. Савватий стоял у окна. Андрей увидел в его лице не только упрямство, но и тревогу: старик поручился за заказ, а теперь должен был доверить его человеку, который стремился сделать не так, как учили. Эта тревога показалась Андрею справедливой. Он впервые не захотел выиграть спор.

Перед уходом Савватий ещё раз осмотрел заказанную доску. Он не тронул лицо, зато обнаружил маленький изъян в поле: край левкаса отслаивался там, где дерево успело втянуть сырость. Позвал Кирилла, и они вдвоём прижали слабое место, проговорив, как сохранить его до окончательной просушки. Андрей стоял рядом, подавал ткань и клей; ему досадно было заниматься краем, когда в середине находилось главное. Но если бы край раскрошился, ни один прекрасный лик уже не спас бы образ. Пока они работали, Савватий ни разу не вернулся к утреннему спору, и Андрей впервые за день понял, что старик не обязан каждое ремесленное действие превращать для него в нравственное наставление. Иногда повреждённый край следует просто починить.

Вечером, когда братия разошлась, Андрей вышел за монастырскую стену. В лесу лежал снег, не тронутый колёсами; шаги звучали глухо, будто земля ещё не решила, выпускать ли зиму. Сосны стояли в сумерках, и только на верхних ветках удерживалась тонкая полоса закатного света. Андрей остановился возле старого ствола, у которого кора была с одной стороны светла, с другой черна. В монастырской палате он пытался доказать форму тенью. Но перед ним была не форма, а дерево, пережившее столько зим, что ни свет, ни тень не объясняли его до конца. Шероховатая кора говорила о морозах, ранах, смоле; свет только давал всё это увидеть.

Он сел на поваленный ствол. Холод постепенно пробрался через одежду, но Андрей не вставал. Из чего состояла икона? Дерево, клей, мел, земляные краски, вода, иногда золото. Все вещи земные, ощутимые пальцами. Неужели оттого написанное обречено быть только земным? Эта мысль тревожила, но он не искал для неё готовых слов. Вспомнилась кремлёвская стена и рука Феофана, не касавшаяся штукатурки, пока мастер не определил, куда должна повернуться фигура. Не свет указывал ему поворот — он сам знал, к кому обращён образ.

Когда Андрей вернулся, палата была пуста. Он растопил лучину и поставил икону так, чтобы огонь не бил прямо в лицо святого. Первым движением руки захотел убрать всю мягкую тень у глаза, но остановился. За день он слишком много раз передумывал. Теперь следовало изменить не всё, а только то, что действительно мешало смотреть. Он осветлил лоб, провёл тонкую плавь возле скулы, оставил тёмный переход у переносицы. Лицо перестало дробиться на выпуклости и впадины; взгляд снова стал строгим, но не мёртвым.

Всё письмо давалось тяжелее, чем он ждал. Кисть, прежде уверенно скользившая по левкасу, вдруг распустилась у самого кончика; мокрые волоски оставили рядом с плавью лишнюю тонкую черту. Андрей хотел закрыть её следующим мазком, но увидел, что тем только расширит ошибку. Пришлось отложить кисть, вымыть её, выбрать другую, мягко убрать след тряпицей и снова ждать. Пока краска подсыхала, он смотрел на маленькую полосу у глаза и чувствовал знакомое раздражение: столько раз он рассуждал о свете, а теперь всё зависело от двух волосков, разошедшихся не в ту сторону. Это была самая обыкновенная, унизительная для гордого человека правда ремесла. Андрей заставил себя не торопиться и только после долгого ожидания вернулся к работе.

В комнате стояла тишина, лишь слабый ветер покачивал пламя. Андрей работал долго, пока не почувствовал усталость в запястье. Доска вдруг показалась законченной. Он поднялся,

отошёл к двери и взглянул издалека. С близкого расстояния мазки были точны; издали они соединились иначе, и в образе появилось то выражение, ради которого он так настойчиво спорил. Андрей ощутил радость — чистую и мгновенную. Он уже хотел снова взять кисть, чтобы закрепить удачу, когда за спиной послышался кашель.

Савватий стоял у порога с миской горячей воды. Он пришёл закрыть печь и не ожидал застать ученика. Увидев доску, старик не сразу приблизился; поставил миску на скамью, вытер руки и только потом склонился над работой. Андрей ждал похвалы так откровенно, что ему стало стыдно. Савватий заметил это, но не стал смеяться. Посмотрел на лик, постоял у двери, откуда его можно было видеть целиком, и тихо сказал, что теперь взгляд держится лучше. Затем указал на слишком мягкий свет возле губ: на утреннем холодном свете тот может показаться сладким и ослабить строгость лица.

— Завтра увидишь, — сказал он. — Ночью глаз тебя легко обманет.

И больше ничего не добавил. Старец ушёл, а Андрей долго сидел у стола, подавляя желание немедленно проверить каждую подробность. По утрам краска выглядела иной. Привычка спешить к готовому ответу была сильнее его самого, но сегодня ему удалось не поддаться ей. Он погасил лучину и оставил доску до рассвета.

Утром тревога Савватия оправдалась. Свет возле губ был положен слишком щедро и придавал святому выражение мягкое, почти ласковое, какого Андрей не хотел. Он соскоблил лишнее, промыл кисть, положил новое тонкое высветление и подождал, пока краска высохнет. После этого лицо стало проще и крепче. Фома подошёл посмотреть, но на этот раз не начал расспрашивать. Долго стоял рядом, затем попросил Андрея показать, как он держит кисть у самого края плави. Андрей взял дощечку для пробы и показал движение, не касаясь заказной иконы. После обеда Фома вернулся к своему архангелу; Андрей заметил, что рука того наконец стала убедительной.

На столе лежал заказанный лик. Андрей ещё не знал, примет ли его заказчик, будет ли доволен Савватий, сумеет ли сам он через неделю не увидеть новую ошибку. Но впервые эти вопросы не мешали закончить работу. Он поправил край одежды, проверил, не осыпается ли левкас у поля, и отнёс икону сушиться. Для мастера, которому предстояло ещё учиться и учиться, это было небольшое дело. Для Андрея оно стоило нескольких бессонных ночей, долгой дороги в Москву, упрямства старика и молчания игумена. Он не называл случившееся открытием. В мастерской уже ждали другие доски.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
РУКА ФЕОФАНА

Весна пришла не теплом, а водой. Снег под стенами обители оседал неровными тяжёлыми пластами, по желобам с утра до вечера стучала капель, и братия укладывала доски через размытые дорожки. На рассвете корка на лужах ещё держала каблук, но к полудню расползалась, открывая чёрную землю. В мастерской сырость чувствовалась прежде, чем её можно было увидеть: доски дольше принимали грунт, клей тянулся с кисти вязкой нитью, а растёртая охра на холодном камне казалась темнее обычного. Савватий велел не придвигать начатые иконы к самой печи, как ни хотелось скорее просушить их: от поспешного жара и хорошо приготовленное дерево могло повести.

Андрей выслушал распоряжение с непривычным терпением. После истории с заказным ликом он уже не всякое замечание старика принимал за желание остановить его руку. За последние недели обнаружилось, что ремесло умеет испытывать человека без чужого вмешательства. На одной доске покоробило шпонку, на другой краска легла неровно из-за плохо перетёртой крупинки. Никакой спор о природе света не мог сделать эти неприятности менее настоящими. Андрей сам растирал краски, промывал кисти и поздно вечером проверял, не осталось ли под стеллажом влажной тряпицы, способной испортить дерево.

В тот день он отмерял воду для новой порции левкаса, когда вошёл келарь. На сапогах его налипла мокрая глина; он не решился пройти дальше порога и позвал Андрея к игумену. Фома, работавший над узкой каймой иконы, тотчас поднял голову. Савватий, даже не обернувшись, велел ученику закончить линию, прежде чем та высохнет. Андрей сполоснул руки, надел поверх испачканной одежды сухую свиту и отправился через двор, ещё не понимая, почему у него так тяжело стало под ложечкой.

Игумен встретил его не один. На скамье у окна сидел приезжий, прижимавший к коленям дорожную шапку. Его длинные рукава были потёрты, а за ногтями въелась краска — примета, которую Андрей заметил прежде лица. На столе лежало письмо. Гость молча поклонился, когда игумен назвал его человеком из московской артели. Там понадобились руки: готовить краски, носить воду, мыть сосуды, подавать мастеру то, что он потребует. Срок был невелик, зато дорога трудная. Игумен не уговаривал Андрея; он только спросил, сумеет ли тот несколько дней быть полезным, не ожидая, что его примут в число старших мастеров.

— Сумею, — ответил Андрей. Слишком быстро, и потому игумен посмотрел на него строже.

Письмо предназначалось Феофану. Услышав имя, Андрей испытал не радость, а короткий приступ страха. Он уже видел греческого мастера в Москве, видел его работу и знал, как мало значат рядом с ней собственные удачные находки. Теперь придётся оказаться совсем близко, там, где ошибку ученика не скроет расстояние. Игумен отдал письмо и велел взять крепкую обувь. Потом, когда приезжий вышел, задержал Андрея: не надо возвращаться от Феофана с чужой манерой письма, словно собственный глаз ничего не стоит. Взять можно знание, а чужую руку не унести.

Дома Савватий не стал допытываться, чему именно Андрей надеется научиться. Он проверил верёвку на дорожном свёртке, положил туда сухую тряпицу для кистей и маленький нож, которым удобно снимать засохшую краску с деревянного края чашки. Андрей хотел отказаться от лишнего, но старец отрезал, что в чужой мастерской просить нож на всякую мелочь постыднее, чем носить свой. Перед уходом Савватий велел ему ещё раз взглянуть на оставленную икону и перечислить всё, что нужно сделать после возвращения. Так разговор о Москве кончился обычным ремесленным счётом, и Андрей был ему благодарен.

По дороге весна обнаруживала себя без всякого порядка. У одного села в колее стояла талая вода, у другого ещё белели сугробы под тыном. На привалах путники ставили ноги на сухие кочки, ели холодный хлеб и слушали, как под подмытой коркой льда идёт ручей. Монастырский работник, который вёз вместе с Андреем часть припасов, волновался только за колесо: обод начал расходиться, и его приходилось то и дело подклинивать. Андрей помогал, хотя руки после работы пахли мокрым железом, а не краской. Он чувствовал досаду, замечая, как часто оглядывается на дорогу впереди, будто желание скорее увидеть Феофана освобождало его от дела, которое нужно было сделать сейчас.

Москва встретила их криками торговцев, тачками с известью, стуком топоров и сыростью от незамерзающих канав. Возле одного двора двое работников тащили длинное бревно, а за ними шёл мальчишка с узким клином в руке. Если бы тот уронил клин, пришлось бы останавливаться всем. Андрей видел это и думал о невидимых людях, без которых не появится ни одна роспись. В монастыре он уже начал понимать такую зависимость. Здесь она была на виду, шумная, раздражённая, не допускавшая красивых слов о совместном труде.

В храме, где работала артель, пахло известью, пылью и влажным деревом. Высоко стояли леса, под ними валялись щепки и отработанные лоскуты ткани. Кто-то мешал краску, двое растирали пигмент на камнях, один из младших помощников пробирался между козлами с чашкой, которую держал обеими руками. Наверху Феофан писал, подаваясь вперёд всем телом. Взгляд Андрея сразу нашёл широкое движение кисти: казалось, мастер не столько добавлял краску, сколько открывал фигуру из стены.

Переданное письмо Феофан прочитал, не сходя с лесов. Он назвал Савватия по имени и спросил, всё ли тот так же недоволен людьми, которые оставляют кисти грязными. Андрей едва успел ответить, как мастер поручил ему отнести воду к дальнему столу. Никакого торжественного знакомства не произошло. Через минуту Андрей уже стоял перед тяжёлой каменной плитой и растирал краску, а помощник в заляпанной одежде объяснял, сколько воды можно добавить, чтобы смесь не стекала со стены. На третий час после полудня один из старших помощников послал его к бочкам за свежей водой. Андрей спустился в холодную часть храма, где на полу лежали куски мокрой рогожи. Поднимать полное ведро по лестнице оказалось труднее, чем растереть целую чашку краски: нужно было одной рукой удерживать дужку, другой искать опору, не прижимаясь к стене со свежим письмом. Навстречу нёсся мальчишка с сухими тряпицами. Оба замерли на узкой ступени. Андрей не рассчитал движения, вода перелилась за край и потекла вниз. Старший помощник, увидев мокрый след, не стал кричать. Он заставил Андрея протереть ступени и присыпать сухим песком место, где работники могли поскользнуться. После этого дал ему маленький сосуд и велел носить дважды, зато без потерь. Андрей покраснел, но спорить не стал. К вечеру он научился ставить ногу на край ступени, где дерево меньше прогибалось, и держать чашу перед грудью, чтобы не задеть никого в проходе.

За трапезой мастера сидели вперемешку с подмастерьями и подсобными людьми. Ели наскоро, почти не отрываясь от начатого разговора о том, где достать хорошей извести и как отложить работу, если стена не успеет просохнуть. Андрей сначала слушал, ожидая рассуждений о красоте, но разговор всё время возвращался к дороге, цене пигментов, срокам, рукам, которые заболели, и лесам, требующим починки. Один помощник жаловался на затёкшую шею, другой говорил, что его жена ждёт денег за работу и что лишний день без платы дома заметят. До этой трапезы он почти не замечал, сколько чужих забот ложится между первым рисунком и готовой росписью. Праздничная красота храма возникала среди усталости, долга, негромких ссор и самой обычной заботы о хлебе.

К вечеру плечо ныло, запястье дрожало, и Андрей раздражённо замечал, что за целый день едва ли видел десятую часть работы самого Феофана.

На следующий день он узнал, почему новичку доверяют прежде всего тяжёлые, неприметные дела. Один из помощников попросил принести охру, и Андрей по небрежности взял чашку со смесью, предназначенной для другого участка. Заметив иной оттенок только у помоста, он застыл с сосудом в руках. Если бы подал краску молча, ошибку могли бы обнаружить уже на стене. Андрей спустился обратно, растёр нужную краску заново и лишился почти часа. Когда Феофан потребовал сосуд, пришлось назвать причину задержки. Мастер взглянул на его руки, на испачканную чашку, велел промыть её как следует и снова поднялся. Он не рассердился. Объясняться было бы легче, чем смотреть, как товарищи наверху ждут краску, которую он обязан был принести вовремя.

Феофан писал быстро, но Андрей скоро различил быстроту и поспешность. Иногда мастер часами стоял у стены, не касаясь её. Отходил, смотрел из-под ладони, садился на край помоста, будто обдумывал дело, не относящееся к живописи. Потом внезапно просил кисть, и коротких движений хватало, чтобы изменить весь разворот фигуры. Рядом с такими мгновениями Андрей замечал и труд, который прежде пропускал: Феофан подолгу проверял высоту взгляда, переходил на нижнюю площадку, требовал от помощника отойти к самому входу и сказать, где теряется рука святого. Один раз приказал снять часть ещё свежего письма, потому что тень на лице не держалась с той высоты, с которой люди будут смотреть во время службы.

Андрей однажды не сдержался и спросил, как можно решиться столь быстро на то, что уже нельзя вернуть. Феофан, спустившись перекусить, не ответил сразу: вымыл руки, вытер их грубой тканью и отломил хлеба. Наконец сказал, что кисть не должна торопиться вслед за мыслью, ещё не окончившейся. Он говорил устало, без обычной насмешки. Андрей собирался спросить ещё, но увидел на его рукаве след от извести и на пальцах мелкие трещины. Перед ним

сидел не человек, которому всё даётся легко, а уставший работник, всю первую половину дня державший в памяти огромную стену, до которой ученик не умел даже мысленно дотянуться.

Когда Феофан позволил ему подняться ближе, Андрей обнаружил, что с расстояния вытянутой руки изображение выглядит грубее и беднее. Одежда складывалась из широких светлых и тёмных полос, края не везде были ровны, возле глаза оставались резкие высветления. Он долго всматривался в лицо святого, стараясь понять, почему издали оно кажется цельным и сильным. Феофан услышал его осторожное замечание о резкой черте возле щеки и предложил спуститься. Снизу Андрей уже не смог найти черту, которая так раздражала его наверху. Лик смотрел на молящихся; тревожное выражение удерживалось не подробностью носа или щеки, а всем наклоном головы и темнотой вокруг глаз.

— Под самой стеной тебе видна краска. От дверей — человек, — сказал Феофан. — Иди ещё раз, сам увидишь.

Мастер не стал извлекать из этого готового наставления. Он поднялся обратно, а Андрею велел несколько раз пройти от входа к середине храма и смотреть, как меняется лицо. Андрей повиновался. У дверей фигура была видна целиком, под самым помостом распадалась; в боковом свете выступали одни черты, в прямом — другие. После третьего перехода ему показалось, что сама стена стала двигаться навстречу. Он вспомнил человека, который зимой плакал у монастырских ворот, пряча лицо от чужих глаз. Андрей не мог бы воспроизвести каждую его морщину, но помнил усталый наклон шеи и то, как долго тот не решался поднять голову. Вдруг стало ясно, что точность нужна не для счёта всех черт.

Через несколько дней Феофан положил перед ним небольшую подготовленную доску. Никакого заказчика у неё не было; можно было испортить и соскоблить письмо без чужой потери. Но Андрей смутился сильнее, чем перед заказной иконой в обители. Мастер попросил написать лик и не дал образца. Андрей нашёл привычный овал, наложил санкирь, затем привычно усилил свет на лбу и скуле. Работа пошла легко. После долгих дней, когда он только носил и мешал, прикосновение собственной кисти доставляло почти телесную радость. К вечеру на доске возникло красивое лицо — мягко освещённое, с глубоко посаженными глазами и безукоризненно проведённой линией рта.

Феофан похвалил письмо, но долго не выпускал доску из рук. Андрей ждал, что мастер укажет на ошибку в светах или в очертании головы. Вместо этого тот поставил изображение у входа, там, где на него падал неверный свет.

— Ты его хорошо написал, — сказал Феофан. — А кому перед ним молиться, я пока не знаю. И ты, кажется, тоже.

Подошли двое работников; один, не зная, чья доска, спросил, кого на ней намерены представить. Ни Андрей, ни Феофан не ответили. И только когда работники вернулись к своему делу, мастер тихо заметил, что умение писать лицо ещё не даёт умения написать человека, к которому придут молиться. Слова были неприятны прежде всего потому, что Андрей сам видел: в гладком, старательном лике гораздо яснее выступало его желание понравиться, чем чужая жизнь.

Он попытался исправить доску. Сперва упростил свет, но лицо потеряло дыхание. Потом сильнее подчинил его привычному письму, и оно стало благообразным, неподвижным. На третьей попытке Андрей невольно вернул прежнюю мягкость, которую ещё вчера считал своей победой. Феофан смотрел не всегда; у него была собственная работа и собственные неудачи.

Однажды Андрей попробовал смешать для второй дощечки ту же охру, что прежде дала ему мягкое золото на лбу. Цвет оказался грязнее, хотя он отмерил всё как обычно. Он сердился на себя, потом на помощника, подавшего не тот сосуд, пока не заметил на каменной плите оставшуюся с утра синюю пыль. Пришлось долго промывать её и начинать растирание сначала. Во второй раз охра легла чисто, но он уже не мог положить её так уверенно, как на первой дощечке. Казалось, простая случайность лишила его найденного движения руки. Феофан уви-

дел неполадку, проверил краску на ногте и велел не искать утраченную лёгкость: нельзя заставить новый образ быть повторением предыдущего, даже если старая удача пришлась мастеру по сердцу. Андрей ещё долго не мог простить себе испорченного цвета. Но к вечеру он обнаружил, что на исправленной доске лицо выходит строже и что эта строгость не обязательно хуже вчерашней мягкости. Однажды Андрей увидел, как он бесшумно смыл большой участок настенного письма, хотя весь день прежде потратил на него. На следующий день мастер вернулся к пустому месту без объяснений. Андрей перестал ожидать, что кому-то дадут тайное правило, позволяющее избежать ошибок.

Случилось и так, что сам Феофан вспылил. Один помощник оставил слишком густую краску на краю широкой чашки, другой задел сосуд рукавом; тёмная струя пошла по деревянной ступени и едва не упала на подготовленный участок стены. Мастер выругался по-гречески, сорвал со ступени мокрую тряпицу и сам принялся вытирать. Никто не смеялся. Андрею запомнилось не раздражение, а то, что Феофан, ещё не остыв, проверил подмётки человека, едва не поскользнувшегося на краске. На лесах одна чужая неосторожность могла покалечить работника, и никакая красота будущей росписи этого не оправдывала.

Вечерами Андрей возвращался на двор с руками, не отмытыми до конца от краски. Ему хотелось разобраться в словах мастера, но всякий раз он вспоминал не слова, а чужие спины на помосте, узкие ступени, влагу на стене, людей, которые не могли позволить себе останавливаться над каждым сомнением одного ученика. В обители уединённый поиск казался иногда благородным трудом. Здесь, где десяток рук зависели друг от друга, в его колебании легко проступало самолюбие. Если он не приносил вовремя нужного сосуда, на стене нельзя было продолжить работу. Если портил краску, кто-то тратил полдня на новую. Это был совсем иной урок, и Андрей учился ему против воли.

Однажды они задержались после ухода остальных. Снаружи вечерний звон давно смолк, в храме сгущалась прохлада. Феофан попросил Андрея остаться у двери, сам поднялся к стене и погасил лишний свет. Сначала исчезли тонкие черты и складки; потом краски сделались одним тёмным дыханием. Зато наклон головы и жест поднятой руки всё ещё различались от порога. Андрей вдруг увидел, что изображение не обеднело от потери подробностей: оно стало суровее, тише, нужнее в этой темноте. Феофан спустился, не зажигая огня. Некоторое время они стояли рядом и слушали, как за стеной стучит поздняя телега.

— Так и смотрят многие, — произнёс мастер. — В сумерках, издали, уставшие. Не все подойдут к самой стене, чтобы хвалить твою кисть.

Андрей хотел спросить, можно ли заранее узнать, что останется в полутьме, но не стал. Всю неделю он видел, как Феофан обдумывает письмо ещё прежде первого движения кисти, и теперь впервые понял, что проверка издалека — не хитрость живописца, а обязанность перед человеком внизу. Назавтра он сам отнёс свои три дощечки к противоположной стене. На первой лицо сохраняло красоту, но ничего, кроме красоты, не сообщало. На второй почти исчезло. На третьей держалась строгая линия, однако за нею не было никого. Андрей поставил их обратно без досады: недостатки стали различимы, а это означало, что следующий труд не будет точным повторением прежнего.

Перед отъездом Феофан разложил дощечки у окна и велел выбрать одну. Андрей долго сравнивал. Первая была лучше остальных, и ему было горько это признать: мастерство, которым ещё недавно гордился, не исчезло только потому, что он открыл его предел. Он потянулся к самой неудачной, словно хотел наказать себя, но Феофан удержал его руку. Велел взять первую. Не как награду и не как свидетельство великого учения — как память о том, что легко достигается в письме и чего никаким умением не купишь. Андрей завернул доску в ткань, стараясь не задеть ещё не совсем просохший край.

Дорога обратно успела перемениться: снег оставался только в тёмных лесных низинах, по обочинам показалась старая трава. На привале Андрей вынул доску. Лик был хорош. Он уже

не мог назвать его ошибкой целиком. Здесь верно положен свет, здесь удачно удержана линия, здесь краска легла чисто. Но выражение лица так и не стало необходимым. Он завернул доску и пошёл дальше, стараясь запомнить это странное смешение сожаления и благодарности: неудача не перечёркивала сделанной работы, а сделанная работа ещё не оправдывала её смысла.

Савватий встретил его за работой. В мастерской было тихо; Фома ушёл за водой, печь едва теплилась. Старик заметил свёрток, но сперва потребовал отчёта о кистях и чашках, которые Андрей вёз с собой. Только после этого позволил развернуть доску. Посмотрел сначала близко, потом издалека, затем поднял к окну и снова поставил. Андрей уже не ждал немедленного приговора. Савватий не нашёл явной ошибки письма. Он спросил лишь, где Андрей сам остановился бы, если бы делал образ для храма. Андрей показал место у глаз: там, как он теперь видел, следовало меньше стараться. Старик кивнул и оставил доску на столе.

В ту ночь они долго не расходились. Савватий промывал старые кисти, вытягивая из них засохшие волоски, Андрей менял воду и раскладывал чистые по полотну. Никто из них не говорил о великом греке. Лишь однажды старик заметил, что хорошая рука часто опережает человека и что самое трудное — вовремя удержать её. Андрей подумал о Феофане на лесах, о неизбежных ошибках, о лице, которое красивее своего назначения. За окном уже темнело; в стекле горело бледное отражение маленького светильника. Он не стал искать в этом свете готового знака. Завтра предстояло снова работать, и теперь он знал, сколько неприметных дел должно быть сделано до первого мазка.

ГЛАВА ПЯТАЯ
ТО, ЧТО ОСТАЁТСЯ ПОСЛЕ ОГНЯ

Лето началось сухими ветрами. В первые дни от них было одно удобство: на дорожках затвердела глина, бельё успевало высохнуть до вечерней службы, и даже в мастерской стало легче хранить доски. Но скоро монастырский огород утратил прежнюю зелень. Капустные листья на жаре повисали, на грядках лопалась земля, а у колодца с каждым утром собиралась всё более длинная очередь. Крестьяне, привозившие в обитель муку и яйца, не задерживались у ворот с обычными новостями. Одни торопились к полю, другие молча смотрели на небо; от неба не было ни тени, ни дождя.

Андрей видел, как меняются лица приезжих, но поначалу думал о засухе так же, как думают о неудобной погоде: плохо для урожая, трудно людям, тревожно. Настоящую меру беды открыл ему день, когда к монастырскому храму пришла женщина с двумя детьми. Младший еле переставлял ноги, старший придерживал за пояс материнский мешок. Женщина остановилась у порога, сняла с головы платок, долго стояла перед иконой Богородицы, затем положила на край скамьи маленький свёрток. Брат, принимавший приношения, развязал его, чтобы не оставить в храме скоромного. В ткани лежали три яйца.

Никто не произнёс ни слова. Женщина словно ждала, что её остановят, но брат только отнёс свёрток в кладовую. Андрей видел, как старший мальчик проследил за ним глазами. Ему стало досадно от этой безмолвной покорности, от уверенного движения монастырского служителя, от собственной неспособности что-нибудь сделать. Он нашёл женщину возле колодца и предложил хлеба из своей доли. Она поблагодарила, но взяла лишь ломоть для младшего. О себе сказала, что до осени протянут, если Господь даст дождь. Ни укоризны, ни красивого смирения в её голосе не было. Она говорила так же, как всякая хозяйка о том, что осталось в кладовке.

Вернувшись в мастерскую, Андрей сердито рассказал Савватию о трёх яйцах. Старик выслушал, не отрываясь от растирания киновари, и наконец спросил, почему Андрей уверен, что женщине необходимо было удержать дар дома. В ответ хотелось сказать о детях, голоде и сухом поле. Савватий не отрицал ничего из этого, но и решать за дарительницу не позволил. Если жаль детей — можно дать им хлеб. Если голодно — помочь с зерном. А чужую молитву не следует обращать в повод считать, кто кому сколько должен. Андрей рассердился и на этот

ответ: в нём было слишком много спокойствия. Только вечером, когда он сам отнёс оставшийся хлеб к воротам для бедных, злость немного прошла. Ни одного из трёх яиц он уже не мог вернуть, зато нашёл дело, которое зависело от него.

Через несколько дней у ворот появилась загнанная лошадь. Человек, почти упавший с седла, просил людей и воды: в деревне неподалёку выгорела улица, ещё тлели амбары, раненых некуда было уложить. На плече у него чернела опалённая ткань. Игумен выслушал его у колодца и сразу распределил работу. Одни брали хлеб и чистое полотно, другие — топоры, верёвки и вёдра. Нужно было оставить людей и в обители: засуха продолжалась, за водой приходилось следить. Андрей уже подхватил тяжёлую связку, когда Савватий велел ему остаться у незаконченных досок.

В иных обстоятельствах Андрей воспринял бы распоряжение как очередное испытание послушания. Теперь он увидел возле ворот человека с обгоревшим плечом и не смог отступить. Сказал старцу, что кисти и краски он приведёт в порядок ночью, а сейчас пойдёт с братией. Савватий долго смотрел на него. Потом взял у Андрея свёрток полотна, развязал и уложил удобнее, чтобы нести было легче. Разрешение было дано без слов. Только уже на выходе старик напомнил, что в деревне не до рассуждений о чужой беде: там понадобятся руки.

Дым встретил их прежде деревни. Он лежал серой полосой над полем, пахнул мокрым пеплом и прогоревшим сеном. Андрей прибавил шаг, но у первых домов пришлось остановиться. Дорога была завалена обугленными жердями; люди торопливо стаскивали их к стороне, а под пеплом ещё проступал красный жар. Между печами без стен ходили погорельцы. У одних на руках были тряпицы вместо повязок, у других лица покрылись серой коркой от пота и сажи. Андрей увидел женщину, сидевшую у полуразобранной избы с ребёнком на коленях, и сердце на мгновение остановилось: мальчик не двигался. Но тот открыл глаза, когда над ним упала тень. Андрей отвернулся, испытывая постыдное облегчение, как будто этой жизни хватало, чтобы разрешить всё остальное.

Работы оказалось больше, чем можно было охватить взглядом. Под одной крышей уцелел навес, туда переносили пострадавших. Нужно было доставать железо из пожарищ, разнимать тлеющие брёвна, освобождать проход для воды, помогать старикам переходить через груды обломков. Андрей носил вёдра, пока ладони не начали гореть от верёвок.

У навеса лежал старик, обжёгший ступню. Он всё пытался подняться: за стеной, как ему казалось, оставалась коза, которую никто не вывел. Братья не сразу поняли, что он просит, так сбивчиво тот говорил. Андрей помог ему сесть, снял с обожжённой ноги рваный лапоть и принёс чистую ткань. От боли старик кричал на него, требовал оставить его в покое, потом схватил за рукав так крепко, что Андрей не мог уйти. Коза давно стояла у соседского тына — её вывел чей-то сын, не дожидаясь просьбы. Когда Андрею сообщили об этом, старик не поверил. Пришлось привести мальчишку, показавшего на верёвке знакомую рыжую животину. Только тогда он отпустил рукав и позволил перевязать ногу. Андрей возвращался к вёдрам с глухим раздражением на бессмысленную тревогу, но тут же устыдился. У человека, потерявшего дом, даже одна коза могла означать молоко на зиму; тревожиться о ней было не менее разумно, чем спасать сгоревший сундук.

Возле амбара две женщины собирали в одну корзину уцелевшую посуду. У одной были маленькие дети, и ей не хватало сил поднять тяжёлую чугунную вещь из золы; другая спорила, кому эта вещь принадлежит. При обычных обстоятельствах они, возможно, уступили бы друг другу, но теперь каждая защищала последнее своё. Андрей не знал ни дворов, ни прежних соседских обид и потому не мог быть судьёй. Он только помог вынести корзину на сухое место и попросил женщин вместе осмотреть вещи. Когда спор наконец стих, он заметил, что одна из них оставила другой деревянную ложку, хотя уверяла, будто та принадлежит ей. В пожаре исчезли стены, но не исчезли ни жадность, ни щедрость, ни привычка помнить обиду. Это делало погорельцев живыми людьми, а не одинаковыми несчастными, перед которыми полага-

лось испытывать одно сострадание. Потом вместе с крестьянами приподнимал упавшую стену. Один мужчина громко требовал не трогать обугленную груду у печи: там оставался сундук, и его жена боялась, что кто-нибудь раздавит крышку. Двое уже готовы были отступить, но Андрей увидел, что под поперечным бревном сундук ещё цел. Они осторожно освободили край и с трудом вытащили его на чистое место.

Хозяин открыл сундук не сразу. Пальцы дрожали так сильно, что застёжка не поддавалась. Внутри лежала одежда, на удивление чистая под чёрной крышкой, и небольшая домашняя икона. Доска потемнела по краю, в грунте пошла трещина, но лицо Богородицы сохранилось. Мужчина прижал образ к груди и сел на сгоревший порог.

— Не уносите, — выговорил он, когда Андрей потянулся поднять выпавшую из сундука одежду. — Это я сам. Только икону не троньте.

Он не пересчитывал одежду, не смотрел, что ещё уцелело. Жена, увидев его, подошла с пустым ведром и остановилась рядом. Андрей хотел помочь им перенести вещи, но они в эту минуту не нуждались ни в нём, ни в словах. Он отвёл остальных к соседнему двору, где ещё дымились брёвна.

К вечеру дым стал реже, зато сильнее слышались человеческие голоса. Кто-то искал пропавший серп, кто-то сердился на соседа за неразобранную стену, две женщины делили остатки соли. Из обители принесли хлеб; его резали слишком тонко, потому что всем не хватило бы иначе. Андрей сел у колодца и отмыл от рук чёрную сажу, но в складках кожи она осталась. К нему подошёл мальчик лет десяти. Волосы над одним ухом были подпалены, рубаха прожжена у рукава. Мальчик глядел не на монастырский пояс Андрея, а на ладони, словно хотел определить по ним ремесло.

Узнав, что тот пишет иконы, мальчик заговорил о святителе Николае, который стоял у них в красном углу. Во время пожара образ не успели вынести. Сначала мальчик спрашивал, не могли ли найти доску под золой; затем, после долгого молчания, — сгорел ли вместе с нею и сам святой. Андрей мог бы ответить словами, которые слышал в храме и повторял другим. Но перед ним сидел человек, потерявший дом, и ни одно правильное объяснение не возвращало ему знакомого лица над лавкой. Андрей сказал только, что дерево горит, а святитель остаётся тем, кому молятся, даже если доски больше нет. Мальчик подумал и попросил написать новую икону.

— Только не сердитого, — добавил он, когда Андрей согласился. — У нас и так беды много.

Эти слова прозвучали без жалобы. Мальчик даже не смотрел на собеседника — ковырял пяткой землю между двумя камнями. Андрей спросил, каким был прежний Николай. Мальчик показал, как низко сходились брови и как сурово смотрел тот с полки. Андрей невольно улыбнулся, но мальчик не улыбнулся в ответ. Он хотел знакомого святителя, которому можно было бы пожаловаться на беду, и боялся вновь получить лицо, похожее на сердитого хозяина. Андрей пообещал привезти образ. Пообещал вслух, понимая, что мальчик запомнит не намерение, а исполнение.

Ночь пришлось провести под уцелевшим навесом. Люди спали рядом, многие не спали вовсе. Кто-то тихо стонал, ребёнок время от времени начинал плакать, в темноте кашлял старик, надышавшийся дымом. Андрей лежал на сене и слышал разговор двух соседей. Один считал, сколько ржи потеряли амбары, другой предлагал собрать по дворам уцелевшее зерно и делить на семена и пищу отдельно. К утру разговор превратился в работу: кто-то принёс мешок, кто-то нашёл кадку, женщины завязали на свёртках узлы, чтобы не перепутать доли. В этом трудном, невесёлом счёте Андрей увидел гораздо больше надежды, чем в вечерних утешениях. Погорельцы не ждали, пока исчезнет горе. Они должны были кормить детей и потому начинали действовать.

На рассвете он снова встретил хозяина уцелевшей иконы. Тот осторожно счищал ножом рыхлый чёрный край доски. Андрей попросил взглянуть и машинально принялся замечать ошибки письма: длинные пальцы Богородицы, неровный край одежд, тяжёлую тень под подбородком. Это был простой домашний образ, далёкий от мастерства Феофана. Но стоило ему поднять глаза на владельца, как вся эта оценка показалась неуместной. Мужчина придерживал трещину большим пальцем, точно боялся, что и это последнее уцелевшее свидетельство прежней жизни распадётся у него в руках. Икона перешла к нему от матери. О том, кто её писал, он ничего не знал и знать не хотел.

Мужчина сказал, что к зиме надо успеть поставить хотя бы одну тёплую избу. Сыновья пойдут за лесом, соседи обещали помочь с венцами. Он говорил деловито, но, когда упоминал место, где была их печь, начинал искать глазами что-то у себя под ногами. Андрей не спросил больше ничего. Он предложил отнести доску к обители и подклеить трещину; мужчина не согласился, потому что не хотел выпускать икону из дома, которого пока не было.

Андрей не стал настаивать. Попросил сухой кусок ткани и деревянную щепу, а затем показал хозяину, как подложить её под край, чтобы трещина не разошлась при переноске. Мужчина смотрел внимательно, дважды сам повторил движение. Андрей собирался предупредить его о сырости, но вокруг были только сырые развалины и открытое небо. Даже хороший совет звучал здесь почти издевательством. Он помог найти место под уцелевшим навесом, куда не попадал дождь, и вместе с хозяином поставил доску на сухое бревно. Тот подвигал образ, проверяя, не упадёт ли он, и только после этого позволил себе уйти на соседний двор. Андрей остался с чувством, что сделал ничтожно мало. Но это малое могло сохранить единственную вещь, которую человек не хотел доверить никому. Вместо этого Андрей показал, как обернуть край сухим полотном, не запирая влагу внутри. Они расстались без благословения и напутствий. Мужчина тут же взялся помогать соседу приподнимать бревно.

Когда братия возвращалась, за спиной оставались не только чёрные печи. На одном дворе уже ставили временный навес, в другом вязали жерди для стен. Андрей нёс пустые вёдра и всё время слышал обещание, данное мальчику. Оно было куда тяжелее дорожного свёртка. В обители его встретили привычные дела: чистые столы, приготовленные доски, осторожная просьба Фомы не задеть открытую краску. Андрей не почувствовал облегчения. На полке лежала небольшая липовая доска, и теперь она была нужна ему не для упражнения.

Савватий осмотрел его почерневшие руки, велел вымыться и только после трапезы выслушал рассказ. Андрей не стал подробно говорить об огне; больше всего рассказывал о Луке — так звали мальчика — и об обещанной иконе Николая. Старик не возразил. Напомнил лишь, что святитель не должен становиться добрым до бесхарактерности. Канон уже несёт в себе милость и строгость; дело мастера — не подменять одно другим. Андрей согласился, но радость от согласия быстро прошла: признать верное положение было гораздо легче, чем написать его на маленькой доске.

Он начал привычно. Тёмный санкирь, строгая линия бровей, внимательный глаз, тонкое высветление на высоком лбу. Первое лицо вышло красивым и слабым. Оно словно заранее прощало всех, не зная ни одного человеческого поступка. Андрей снял свет с щеки, усилил надбровную тень. Теперь Николай стал похож на прежних суровых святителей, которых Лука боялся. Фома, проходя мимо, сказал, что работа хороша и лучше не трогать. Андрей ничего не ответил. Он устал от попыток добиться результата одним движением кисти и на целое утро отложил образ, занявшись чужой рамкой и подготовкой клея.

К вечеру солнце стало низким. Свет у окна упал на руку Савватия, который пытался привязать лопнувшую бечёвку к связке кистей. Старик сердился на узел, но когда Фома подхватил связку с другого конца, на лице его мелькнула благодарность, которую он тут же скрыл обычным ворчанием. Андрей неожиданно вспомнил погорельца, державшего потрескавшийся образ. Сила человека не исчезала от того, что он нуждался в чужой помощи. В нём могли жить

усталость, стыд, благодарность и способность всё-таки встать. Андрей вернулся к иконе, не изменил рисунка глаз и почти не коснулся рта. Он убрал тяжёлую тень над переносицей, оставив взгляд прямым, но освободив его от ненужной угрозы.

Доска не стала улыбаться. Николай по-прежнему смотрел строго, как человек, которому нельзя солгать. Но теперь в этой строгости находилось место для чужой беды. Андрей не спросил Савватия, удалось ли; старик увидел законченную работу только спустя два дня и не стал её хвалить. Он указал на влажный край, где нужно было подождать, прежде чем заворачивать икону в ткань. А после, уже выходя, спросил, собирается ли Андрей сам отнести образ. Тот кивнул. Старик взял с полки крепкую сумку, в которой обычно перевозили небольшие доски, и отдал ему.

Деревня встретила Андрея стуком топоров. Новые срубы пахли свежим лесом, но между ними всё ещё стояли чёрные печи, словно прежняя жизнь не желала уходить без следа. Лука нашёлся у колодца: помогал таскать воду и сердился, когда ведро било его по ногам. Узнав Андрея, он сперва не поверил, что тот принёс обещанное. Потом вытер ладони о рубаху и сам осторожно развязал сумку. Андрей увидел, что мальчик держит доску совсем иначе, чем ученики в мастерской: не ищет правильности письма, не рассматривает красочную поверхность, а сразу всматривается в глаза святого.

Лука молчал долго. Наконец сказал, что Николай грустный, но не сердитый.

— Теперь можно ему сказать, что страшно, — произнёс мальчик, всё ещё не отрывая глаз от лика. — Не рассердится.

Андрей не стал объяснять разницу. Мальчик поднял икону выше, чтобы на неё упал свет, и на лице его появилось сосредоточенное выражение человека, который узнал давно потерянную вещь, хотя видит её впервые. Из дома вышла мать, позвала его помогать, но заметила икону и остановилась. Лука протянул ей доску. Женщина взяла её так же бережно, как прежде принимала хлеб. Они вместе пошли к новой избе. Андрей остался у колодца, не услышав ни похвалы, ни длинной благодарности, и впервые не почувствовал их отсутствия.

На обратном пути он заметил, что пожар всё ещё живёт в деревне не дымом, а людскими привычками. Вещи складывали подальше от сухой травы, возле новых печей держали ведро воды, на крышах не оставляли веток. Дети играли в местах, где взрослые недавно разбирали обугленные стены. Не всё было восстановлено; возможно, многое уже нельзя было вернуть. Лука не получил прежнюю икону, женщина у храма не получила дождя за свои три яйца. Андрей понимал теперь только то, что человек не обязан ждать конца беды, чтобы искать поддержки. Образ, который он написал, не построил никому дома. Но мальчик унёс его туда, где снова будут жить.

Савватий сидел вечером у мастерской и чинил поломанную деревянную ручку. Андрей присел рядом. Старик не спрашивал, хороша ли вышла икона; он спросил, отдал ли её мальчику и не случилось ли в дороге беды. Узнав, что Лука признал образ, Савватий продолжил работу. Они долго молчали, слыша за оградой голоса людей, пришедших за водой. Потом старец заметил, что утешение на иконе не должно быть сладким: человеку, который потерял дом, слишком легко отличить правду от красивой выдумки. Андрей хотел ответить, но посмотрел на стёртую рукоять в руках Савватия и промолчал. Он уже видел, что старик всю жизнь занят не одним искусством говорить нужные слова, а трудом, без которого эти слова ничего не значили бы.

ГЛАВА ШЕСТАЯ
ДАНИИЛ

Осень подступила к обители рано. По утрам трава белела от инея, а днём лес за оградой стоял медный, тёплый на вид и холодный на ощупь. Листья набивались под ступени, к колодцу приходилось идти по сырой дорожке, которую ветер то засыпал, то освобождал вновь. В мастерской ещё не успевали как следует протопить печь, и клей густел в глиняной чашке,

пока работники пытались завершить утреннее приготовление красок. Андрей трудился над одеждами на небольшой иконе. Складки на плаще получались правильными порознь и не складывались в одно движение ткани. Отойдя на три шага, он видел не тяжесть одежды, а собственное старательное усердие.

Он попробовал снять одну светлую полосу, но рука остановилась. После поездки к Феофану Андрей стал внимательнее к тому, как изображение видится издали, а потому и ошибок замечал больше. В мастерской не было никого, кроме Фомы: тот молча правил узор на поле и поглядывал на Андрея с тем тайным облегчением, которое испытывает ученик, когда старший тоже не может справиться с доской. Дверь открылась без стука. На пороге стоял человек в дорожной одежде, с небольшим свёртком под мышкой. Высокий, крепкий, не юный и ещё не старый, он осмотрел помещение так, словно прежде всего искал, где поставить вещи, чтобы не задеть сырой краски.

Незнакомец не стал ждать разрешения заговорить. Он указал на плащ.

— У тебя каждая складка отдельно живёт. Кто же несёт на себе весь этот плащ?

— Я пока сам разбираюсь, — сухо ответил Андрей. — Ты к кому пришёл?

Андрей, привыкший к замечаниям Савватия, всё же почувствовал досаду. Откуда чужому человеку знать, сколько раз переписывал он эту одежду? Но незнакомец не стоял над душой. Увидев, как Андрей повернул доску, он просто отступил, освобождая свет, и начал развязывать дорожный свёрток. Там были завёрнутые в полотно кисти, нож, кусок мела и небольшая плоская дощечка. Человек явно пришёл не любоваться чужим письмом.

Савватий узнал гостя ещё с порога. Нахмуренное лицо старца внезапно переменилось: он бросил на лавку дрова, которые нёс к печи, подошёл и крепко обнял приезжего. Тот ответил без излишних слов, как люди, давно знакомые и не привыкшие показывать радость при посторонних. Его звали Даниилом; за тёмную бороду и волосы товарищи прозвали Чёрным. Савватий повёл его к игумену, на ходу расспрашивая о дороге и о тех, с кем Даниил работал прежде. Андрей остался у незаконченного плаща. Первым желанием было доказать, что чужой совет ничего не стоит. Вторым — убрать ненужную складку. Он отложил кисть до возвращения света в окне и не стал делать ни того ни другого.

Даниил задержался в обители. Сначала говорили о нескольких днях, но нашлась работа, потом ещё одна, и вскоре его место оказалось за соседним столом. Он не расспрашивал о больших замыслах Андрея и не требовал признаний. Утром вставший прежде других Даниил успевал проверить доски, прогреть клей, подготовить чашки к росписи; если получалось неудачно, спокойно переделывал. Андрея раздражала эта ровность. Ему казалось, что другой мастер не знает той мучительной остановки перед линией, когда вдруг исчезает уверенность, добытая долгим трудом. Однажды он увидел, как Даниил осторожно снимает почти законченную часть собственного письма, и испытал странное облегчение. Тому тоже приходилось начинать заново.

Причина оказалась не в ошибке рисунка, а в доске. Тонкая трещина пошла по грунту возле края, и Даниил боялся, что она потянется через лик. Он не стал спасать видимость завершённой работы. Снял краску у повреждённого места, попросил Андрея подержать доску на свету, пока он проверял дерево, затем придвинул её к теплу — не близко, чтобы не пересушить. Андрей помогал молча. Ему было стыдно своей прежней уверенности, будто спокойствие Даниила происходит от недостатка горячности. Справляясь с повреждением, тот был угрюм и сосредоточен, а когда выяснилось, что доску всё-таки можно спасти, выдохнул так, словно отложил большой камень.

Вечером они сидели рядом, перебирая высохшие кисти. Андрей признался, что иногда сердится на собственную работу так сильно, что уже не способен понять, где ошибся. Даниил усмехнулся: это чувство ему знакомо, только от него доска не делается лучше. Он рассказывал о случае, когда почти испортил заказ из-за желания немедленно скрыть первую неудачу.

Пришлось ждать утра, показывать товарищам незавершённую работу и слушать неприятные замечания. Андрей удивился не самому признанию, а его простоте. Феофан превращал собственные ошибки в суровый урок, Савватий — в испытание терпения. Даниил говорил о них как о вещах, которые случаются с каждым работающим человеком и не обязательно делают его дурным мастером.

С этого дня Андрей всё чаще придвигал свой стол к соседнему. Их совместная работа не была безоблачной. Однажды оба взялись за приготовление одного и того же цвета, не условившись, кому он нужен прежде; спор разгорелся из-за пустяка, но испорченная смесь стоила им целого утра. В другой раз Андрей слишком рано переставил чужую доску ближе к окну, и Даниил, заметив след от мокрой ткани, резко попросил впредь не касаться его работы без разрешения. Они промолчали до трапезы. Потом Андрей вернулся, вытер стол и поставил чашки так, как предпочитал другой. Даниил, ничего не говоря, помог ему перенести тяжёлый ящик с пигментами. К вечеру прежняя близость вернулась, но теперь оба знали её цену.

Как-то Даниил достал старую маленькую икону, давно лежавшую среди досок для подновления. Краска на ней потемнела, края были стёрты, а имя мастера никто уже не мог назвать. Андрей сначала увидел привычное письмо, верно выдержанный образ, затем — странную мягкость поворота головы и неожиданную линию пальцев. В старом образе было нечто узнаваемое, хотя он и не знал руки, которая его создала. Даниил не предложил рассуждать о пределах допустимого. Он принёс другую икону, того же святого, написанную много позднее, и поставил рядом. Обе сохраняли знакомые черты. Но один святой будто слушал человека, другой смотрел поверх его головы.

Они долго переставляли доски, меняя расстояние и свет. Андрей искал внешние отличия, потом перестал их перечислять. Стало ясно, почему в готовом образце нельзя находить единственное правило для всех последующих рук. Если бы старый мастер не решился на свой поворот головы, Андрей никогда не увидел бы в потемневшем лице того живого внимания, которое удерживалось даже под трещинами. Однако и любая новизна сама по себе не делала образ правдивее. Об этом они не договорились за один вечер. Каждый возвращался к старой иконе в другое время дня, и постепенно разговор перешёл в совместную работу: Даниил начал осторожно укреплять край, Андрей подбирал тон для утраченного участка, стараясь не заставить новую краску спорить со старой.

На другой неделе Даниилу понадобилось укрепить угол старой иконы. Клей был приготовлен по всем правилам, но осенняя сырость мешала ему схватиться. Работу пришлось перенести ближе к печи и устроить над доской временный навес из ткани, чтобы на поверхность не садилась пыль. Андрей сначала собирался помочь, затем задержался у чужого стола на целый день. Он видел, как Даниил прижимает тонкую полоску дерева, как отпускает её лишь тогда, когда уверен, что та держится, и как удерживает себя от соблазна переписать старую потемневшую щёку. Можно было бы сделать её яснее, вернуть блеск глазам, закрыть неровности. Но хозяева просили сохранить знакомый образ, и Даниил отвечал прежде всего за него. Он укрепил разрушенный край и остановился. Андрей вспомнил собственные опыты с гладкими лицами и с удивлением понял, что остановиться перед чужой старой работой иной раз труднее, чем перед собственной новой.

За обедом Савватий спросил, закончили ли они подновление. Андрей уже приготовился объяснять, сколько ещё можно было бы исправить, но Даниил ответил, что на сегодня сделано всё нужное. Старик удовлетворённо кивнул. Никакого спора не вышло, однако Андрея задела та лёгкость, с которой оба старших мастера признали работу достаточной. Позже он вернулся к иконе один. Шрам под самым ухом оставался виден, и его рука невольно потянулась за кистью. Но он подумал о человеке, который узнаёт образ именно с этим старым шрамом, и оставил его. Утром Даниил ничего не сказал, хотя наверняка заметил, что кисти никто не трогал.

Вскоре Андрею поручили образ архангела Михаила. Доска была хороша и ровна, грунт лёг чисто. После многих трудных недель он начал писать с лёгкостью, которой давно не испытывал. Сначала получилась одежда, потом лицо: высокий лоб, крупные глаза, тонкие светлые переходы. Третьим днём Андрей поставил икону у двери, чтобы взглянуть на неё издалека. Она была красива. И всё же казалась не вполне своей: вместо небесного воеводы перед ним стоял прекрасный юноша, привыкший к тому, что им любуются.

Даниил не стал разбирать икону по чертам. Он пришёл после трапезы, долго смотрел, затем попросил Андрея вспомнить, почему образ Михаила помещают у входа или рядом с другими воинами небесными. Андрей ответил привычным знанием — защитник, предводитель. Но попытка сразу сделать лицо суровее испугала его самого. Ещё один тёмный мазок, и архангел станет сердитым, как тот Николай, которого боялся Лука. Даниил заметил колебание и не предложил решения. Он только передвинул икону к другой стене, где на неё падал более холодный свет, и ушёл к своей работе. Андрей остался перед лицом, не зная, что с ним делать.

От ожидания на душе становилось хуже. Работа не ждала его понимания, у неё был свой срок. Савватий велел закончить верхнюю кайму, а остальное оставить до утра. Андрей подчинился и с досадой заметил, что весь день тщетно искал силу в дополнительных тенях. Вечером он вышел из мастерской, когда у ворот спорили двое работников: один не хотел закрывать навес, потому что собирался на рассвете вновь везти доски, другой опасался ночного ветра. Над лесом уже гудело. Андрей задержался, помог привязать полотнище, а к ночи ветер разошёлся так, что ставни несколько раз ударились о стену.

Тревожный колокол поднял обитель до рассвета. У хозяйственного строения старая сосна переломилась у корня и обрушила верхнюю часть крыши. Человек, ночевавший внутри, успел выбраться, но под бревенчатым навесом ещё оставались мешки с зерном, которые нельзя было бросить под дождём. Братья суетились в темноте: кто-то звал топор, кто-то тянул обломок крыши, двое с фонарём толкались на узком проходе. Андрей ухватился за толстую ветку; та не поддавалась. Ветер рвал руки, за пазуху набивало мокрые листья.

Даниил появился возле завала почти без верхней одежды. Он не командовал людьми громким голосом и не изображал бесстрашия. Сначала отстранил фонарь от сухой соломы, затем попросил двоих подставить жердь под обломленный край, чтобы не обрушить его на тех, кто работал снизу.

— Сверху не тяните! — крикнул он сквозь ветер. — Сначала подоприте, там люди стоят.

Сам упёрся плечом в тяжёлую ветку; Андрей встал рядом. На миг Даниил поморщился от боли и стиснул зубы, но не выпустил дерева. Он коротко назвал каждому место, где нужно держать. Несколько рук взялись одновременно. Подняли. Освободили проход, выволокли один мешок, затем другой. Лишь когда убедились, что под крышей никого нет, начали разбирать завал дальше.

Андрей видел лицо Даниила в неверном свете фонаря — грязное, мокрое, с болезненно сжатыми губами. В нём не было ни гнева, ни желания устрашить других. Только тяжёлое внимание к делу, от которого зависели люди рядом. Никто не смотрел на его силу, потому что все были заняты той же работой. Это лицо застряло в памяти Андрея сильнее всяких наставлений. К утру, когда крыша уже не могла рухнуть вторично, Даниил обнаружил, что содрал кожу на ладони. Он отмахнулся от помощи, но Андрей всё-таки промыл рану и перевязал её чистой полосой ткани. Даниил морщился и сердился — верная примета, что боли он боялся не меньше других.

В мастерской образ архангела встретил Андрея прежней красивой пустотой. Он долго смотрел на него, прежде чем поднести кисть. Не сделал брови ниже и не затемнил глаз. Убрал слишком лёгкую плавь, чуть выпрямил линию взгляда, остановил мягкий излом рта. Исправления были малы. Если бы их видел незнакомый человек, он едва ли назвал бы перемены. Но для Андрея лицо перестало казаться занятым самим собой. Оно смотрело не на собственное

совершенство, а поверх него — туда, где нужна была помощь. Даниил пришёл позже с перевязанной ладонью, увидел работу и молча постоял перед ней. Андрей впервые не потребовал оценки. Тот лишь заметил, что теперь рука у Михаила будто готова удержать меч, а не показать его.

За время жизни рядом Даниил изменил не только письмо Андрея. Прежде всякое замечание чужого мастера казалось ему или угрозой, или благодеянием. Теперь обнаружилось, что можно спорить без намерения победить и помогать, не становясь наставником. В мастерской они часто работали молча, иногда сердились друг на друга, иногда вместе отмывали от пола пролитую краску. Фома сначала смотрел на них с осторожностью: два мастера за одним столом представлялись ему двойным судом. Потом привык приносить обоим пробные дощечки, и разность ответов уже не пугала его. Если один говорил убрать свет, а другой — оставить, приходилось смотреть самому.

Однажды они пошли к лесу за прутьями. День был холодный, сухой, листья на земле рассыпались под ногами. Даниил выбирал подходящие ветви, сгибал, проверяя упругость, и только потом срезал. Андрей наблюдал за его неторопливостью и вдруг заговорил о славе. Ему было неловко признаться, как сильно радует чужая похвала и как обидно, если хорошо сделанная работа остаётся незамеченной. Даниил не стал изображать равнодушие. Ему тоже хотелось, чтобы люди знали, чья кисть им помогла увидеть образ. Однажды, рассказал он, похвалы не дождался и несколько дней ходил угрюмый, хотя никто его не обидел. Когда наконец заметил собственное тщеславие, досадовал ещё сильнее. Андрей рассмеялся: перед ним был человек с теми же слабостями, но без необходимости превращать каждую в окончательный приговор себе.

На обратном пути они зашли к дальнему монастырскому двору, где братия сушила собранную древесину. У стены лежали связки ещё сырых прутьев, подписанные разными метками: те, что пойдут на черенки, должны были сохнуть дольше, другие можно было пустить в работу раньше. Даниил переложил две связки, чтобы ветер проходил свободнее, и попросил Андрея помочь связать их без чрезмерной тугости. Лоза пружинила и выскальзывала из рук. Андрей сначала раздражался, потом приспособился придерживать концы коленом. Даниил, заметив это, тихо сказал, что работа вдвоём не означает, будто оба должны держать вещь одинаково. Всякий делает то, что у него получается лучше. Андрей почувствовал благодарность не за слова, а за то, что никто не счёл его неловкость достаточным поводом отобрать у него работу.

Они вернулись с полными связками прутьев. За работой разговор быстро забылся, но вечером Андрей неожиданно легче посмотрел на собственные иконы. Он всё ещё замечал, где хотелось показать ловкость руки. Это желание не исчезло и, вероятно, не исчезнет от одного решения. Но теперь он не считал нужным из-за него ненавидеть сделанное. Хороший мазок оставался хорошим, даже если мастер был им доволен. Важно было другое: не заставлять чужой образ служить собственному самолюбию. В мастерской этот выбор совершался не однажды, а каждый раз, когда рука тянулась добавить красоту, без которой человек перед иконой ничего не терял.

В последние недели перед отъездом им пришлось закончить общий заказ — два небольших образа для монастырского придела. Они условились распределить работу, но когда настало время соединить обрамления, выяснилось, что оттенки фона различаются. На столе рядом доски выглядели чужими. Андрей предложил переписать обе; Даниил возразил, что не стоит портить хорошее ради видимости полного сходства. Спор тянулся до вечера, пока Фома не попросил позволения поставить их там, где они будут висеть. У дальней стены, в более скудном свете, разница почти исчезла. Зато обнаружилось, что один образ слишком крупен рядом с другим по выражению лица. Андрей сам убрал лишнее высветление, Даниил смягчил тёмную кайму. Впервые им удалось не спорить о том, чей путь верен, а смотреть на обе доски

как на одно дело. Под конец работы Даниил подвинул их ближе и молча оставил на просушку. Андрей ощутил радость, которой не требовалось ни свидетеля, ни названия.

К началу зимы Даниил засобирался в дорогу. Работу ему предложили в другом месте, и он не мог отложить отъезд без причины. Андрей узнал об этом поздно; странным образом его задело не расставание, а то, что другой не счёл нужным заранее спросить его мнения. Он несколько часов был холоден с Даниилом, будто тот нарушил неведомый договор. Наконец, когда они вместе собирали кисти, признался, что привык к его присутствию и теперь не знает, как снова работать один. Даниил ответил, что и сам привык, но в мастерской есть Фома, Кирилл, Савватий и столько досок, что тишину никто не оставит без дела. Это было сказано без ласки, но Андрей увидел, как тот долго перебирает мелочи в дорожном свёртке, откладывая последнее движение перед уходом.

У ворот стоял холодный ветер. Даниил нёс маленькую котомку, привязанную к поясу, и свёрнутые в полотно кисти. Увидев Андрея, он взглянул на его руки: тот держал старую тряпицу, которой Даниил обычно протирал кисти, и никак не решался её выбросить. Они оба улыбнулись. Андрей предложил проводить его до первой развилки, но Даниил отказался — дорога знакомая, и в обители хватает дела. На прощание он попросил не трогать больше Михаила без нужды: вчера Андрей снова подолгу стоял перед образом, и Даниил боялся, что тот начнёт исправлять законченное только потому, что расставаться с работой неприятно. Андрей ответил, что подумает. — Возвращайся, — сказал Андрей, чувствуя, как мало говорит это слово.

— Вернусь, если буду жив и дорога не забудется, — отозвался Даниил.

Они обнялись коротко и неловко, как люди, не умеющие заранее говорить о разлуке.

Когда Даниил вышел за ворота, мастерская не опустела вдруг. Там по-прежнему были Фома, запах красок, сырость от печи, знакомый скрип стола. Не хватало только чужого неторопливого движения рядом. Андрей взял оставшуюся тряпицу, отнёс к полке и положил вместе с вымытыми кистями. Потом подошёл к архангелу. Свет в окне уже гас, и лицо менялось на глазах. Андрей мог бы найти ещё десяток мелочей, требующих исправления; опыт подсказывал такие мелочи всегда. Но он представил Даниила под тяжёлой веткой, чужие руки, поднявшие древесину, и живого человека, который первым делом думал не о собственной красоте. Он накрыл икону чистой тканью и вышел в холодный двор: завтра её должны были забрать, а сегодня делать больше было нечего.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
ВОЗВРАЩЕНИЕ

К середине зимы снег поднялся над нижними перекладинами монастырской ограды. Каждое утро братья прорубали проход к колодцу, а к вечеру ветер заметал его снова. По дороге из ближайшего села привозили дрова и муку; сани вязли возле ворот, лошади стояли с белыми от инея мордами, и люди, прежде чем заняться разгрузкой, долго отогревали пальцы под рукавицами. В мастерской печь топили с рассвета, но у окон всё равно тянуло холодом. Клей в чашках густел, словно в него подмешали песку, а вымытые кисти приходилось класть подальше от стены, чтобы вода не схватывалась льдом.

Андрей написал за эту зиму несколько образов. За одним приехал заказчик из Москвы, укутанный в добрый мех, долго рассматривал золочёный фон и, наконец, похвалил строгий лик. Андрей поблагодарил его, помог обернуть доску полотном, проверил, чтобы ремень не пришёлся на выступающий край, и вернулся к столу. Он с удивлением обнаружил, что не помнит лица человека, от которого только что услышал похвалу. Ещё недавно подобные слова могли лишить его сна. Теперь после них оставалась лишь усталость, как после удачно выполненной, но слишком долго тянувшейся повинности.

Дело было не в пресыщении похвалой. У Андрея получалось многое из того, что прежде стоило мучительных усилий. Он уверенно держал линию, различал в полумраке слабейшее

изменение красочного слоя, без долгих проб выбирал цвет для первой плави. И всё чаще останавливался перед завершённой работой с неприязнью, которой сам не понимал. Ошибок не было; именно это досаждало. Рука выучила порядок, а внутреннее сомнение, прежде заставлявшее искать, как будто иссякло вместе с трудностью.

Савватий не расспрашивал его о тоске. Однажды принёс две липовые доски и велел проверить торцы: одну сушили верно, вторую вынесли к печи слишком рано. Андрей не сразу увидел разницу. Старик молча положил доски ребром к свету. На одной обозначилась тонкая, почти невидимая трещина. Андрей провёл ногтем по тёмной черте и ощутил неожиданное облегчение: здесь существовала настоящая трудность, не требовавшая красивых мыслей. Нужно было решить, выдержит ли дерево грунт, не пойдёт ли разрыв через лик, какую доску можно оставить под заказ. Савватий отнёс худшую в хозяйственную кладовую, а лучшую оставил на столе. На прощание только заметил, что мастер, которому всё удаётся слишком легко, иногда начинает сердиться не на работу, а на собственную сытость.

На монастырском дворе тем временем заботились о том, чтобы весной не остаться без припасов. Кирилл сушил в амбаре влажную рожь, Фома по поручению старших проверял запасы льняного полотна, которое было нужно и для письма, и для обычных хозяйственных дел. Однажды в мастерскую принесли маленькую икону с вздувшимся красочным слоем. Хозяйка, вдова ремесленника, боялась, что образ испортится окончательно. По краям доски собралась сырость, клей ослаб, а внизу взялась тонкая плесень. Андрей взялся укрепить отстающее письмо, хотя работа не обещала ни славы, ни денег. Он боялся снять вместе с повреждённым местом следы чужой кисти, потому осторожно отделял от поверхности лишь то, что уже осыпалось. Вдова несколько раз спрашивала, будет ли святой опять смотреть как прежде. Андрей отвечал, что сделает всё, что возможно, а не то, что от него хотят услышать. Уходя, женщина забыла на лавке холщовую рукавицу. Фома догнал её за воротами. Андрей проводил взглядом длинные следы на снегу и неожиданно заметил, что над старым образом трудился внимательнее, чем над собственным новым заказом.

Эта мысль обидела его. В чужом старом письме он видел судьбу людей и ответственность за повреждённую вещь; свою новую доску иногда воспринимал как задачу, которую нужно безупречно решить. Савватий, узнав о вдове, не спросил, сколько та заплатила. Велел проверить, не оставили ли повреждённую икону у печи на ночь, и сам принёс сухую подкладку. Андрей понимал, что старик вновь учит его делу без торжественных слов, и всё же внутреннее оцепенение не уходило. Он возвращался к новому Спасу с тем же мучительным чувством: всё в нём было правильно, а радоваться было нечему.

На следующий день Андрей писал небольшого Спаса. Закончив охрение, он поставил доску возле окна и увидел знакомую безупречность. Тень лежала на месте, глаз был углублён ровно настолько, насколько требовало лицо, рука благословения не нарушала общего движения. Добавлять было нечего. Вместо того чтобы убрать икону для просушки, Андрей взял тонкую кисть и поднёс её к скуле. Фома, сидевший у соседнего стола, быстро отодвинул собственную доску.

— Не начинай опять, — сказал он. — Вчера ты уже снял отсюда добрый кусок работы.

Андрей хотел отмахнуться, но увидел испуг в Фоминых глазах и положил кисть. Молодой послушник не за себя тревожился. Он знал, сколько труда скрывается под ровной поверхностью, и боялся, что старший мастер уничтожит всё одним движением от досады. Андрей вдруг почувствовал стыд перед ним. В мастерскую отдавали не только доски и краски, но и время людей, которым потом приходилось переделывать испорченное.

Дверь отворилась под порывом ветра. Фома вскочил прикрыть её, однако входивший уже прижал створку плечом и, не сняв дорожной котомки, нагнулся к порогу, сбивая с сапог снег. Из-под мокрого капюшона показалась борода, потемневшая от растаявших снежинок.

Андрей узнал голос раньше, чем лицо: Даниил попросил не сердиться за холод и спросил, цел ли архангел Михаил, которого они оставили в мастерской перед его отъездом.

Андрей шагнул к нему слишком поспешно, едва не задев стоявшую у двери доску. Радость оказалась телесной, почти болезненной: захотелось схватить дорожную сумку, усадить Даниила к огню, осмотреть, не обморозил ли он рук, — и вместе с тем пристыдить его за долгое отсутствие. Он только обнял друга. Под ладонями была жёсткая, промёрзшая одежда, а под нею — непривычно худые плечи.

Савватий явился вскоре, хотя никто за ним не ходил на глазах у Андрея. Старик вначале задержался возле порога, оглядел Даниила и нахмурился сильнее обычного. Потом подошёл и так крепко обхватил его, что с воротника посыпался снег. Даниил попытался пошутить о дороге и долгих зимних неделях, но Савватий не поддержал смеха. Он ощупал тонкую ткань на рукаве, заметил стоптанный край сапога и велел Фоме поставить к печи ещё одно полено. Только после этого спросил, не болел ли гость.

— Не болел, — ответил Даниил. — И голодным не останусь, если дадите хлеба.

За трапезой его усадили ближе к теплу. Он рассказывал о работах без охоты: где писали храм, где заказчик спорил из-за платы, где пришлось остановиться, потому что холсты и краски привезли поздно. Игумен спрашивал о монастырях, Савватий — о мастерах и дереве, Фома ловил каждое слово о далёких городах. Даниил старательно не возвышал ни своего труда, ни тягот дороги. Однако, когда речь зашла об одном селении, он осёкся. Там, сказал он, случился мор. В комнате стало тише. Даниил сжал ложку и опустил её, так и не доев. Андрей заметил, как тот смотрит мимо сидящих за столом, и не решился расспрашивать при всех.

Вечером он нашёл друга у печи. Даниил поставил сырые сапоги на две деревянные чурки, чтобы кожа сохла постепенно, и пытался иглой зашить расползшийся шов на котомке. Свет от лучины приходился ему за спину. Андрей без просьбы перенёс её ближе, присел, взял край мешка и придержал, пока Даниил протягивал нить. Они работали молча. Раньше молчание между ними никогда не казалось трудным; теперь Андрей чувствовал, как товарищ удерживает за зубами слова, для которых ещё не нашёл места.

— Ты не обязан рассказывать сегодня, — произнёс Андрей, когда шов был закончен.

Даниил кивнул с такой благодарностью, что Андрею стало неловко. Они перебрали дорожные кисти: две годились для работы, у одной вылез пучок волос, тончайшая совсем потеряла острие. Отдельно лежала маленькая деревянная ложка, не похожая на монастырские. Даниил быстро убрал её в сумку. Андрей сделал вид, что не заметил.

На следующее утро работа пошла иначе, чем до возвращения. Даниил занял своё старое место, проверил чашки с краской, отобрал кисти, а потом принялся помогать Фоме переносить доски на подставки. Андрей только тогда увидел, насколько товарищ ослаб. Даниил не мог долго удерживать тяжёлую икону на вытянутых руках; плечо у него подрагивало, хотя лицо оставалось спокойным. Савватий заметил то же и незаметно поручил более тяжёлую работу молодым. Даниил возражать не стал, но в его молчании чувствовалось раздражение человека, которого при всех пожалели.

Присутствие Даниила вскоре изменило и порядок самых простых дел. После трапезы Андрей привык оставлять на столе всё, над чем размышлял, а утром нередко начинал с поисков нужной кисти. Даниил убирал инструменты по степени тонкости и сразу сердился, если мокрую щетину клали под тяжёлые доски. Однажды он нашёл у Андрея ту самую тряпицу, которую оставил перед отъездом, и не смог удержать улыбки. Андрей поспешил сказать, что забыл её выбросить. Даниил ничего не ответил, зато вечером промыл тряпицу вместе с прочими вещами и снова положил рядом со своим местом. Доказательства дружбы им не требовались; достаточно было, что чужая привычка вернулась вместе с человеком.

Фома оказался первым, кто заметил, как трудно Даниилу снова входить в привычный труд. Прежде тот мог помогать ему после собственной работы, а теперь порой останавливался

на полпути к столу, будто вспоминал срочное дело, и уходил к двери. Юноша однажды пожаловался Андрею: ему кажется, что старший мастер не слушает, когда он спрашивает о рисунке. Андрей хотел отчитать Фому за нетерпение, но вспомнил, как сам встречал молчание Саввация. Он не стал объяснять чужую боль вместо Даниила. Попросил послушника принести вторую доску и показал, где нужно остановить складку. Только вечером признался другу, что Фома ждал его помощи. Даниил смутился. На следующий день он сам подошёл к юноше, осмотрел его работу и несколько минут правил с ним неровную линию. Рука у него дрожала, но теперь перед ним был человек, которому она нужна.

Через несколько дней в мастерской запахло свежим левкасом. Даниилу доверили образ Богородицы для небольшой церкви. Он работал сосредоточенно, почти без остановок, пока на тёмном подмалёвке не проступили глаза. Андрей, проходя мимо, задержался. Взгляд получался совсем не таким, какого он ожидал от руки друга: не суровым и не отрешённым, а словно обращённым к боли, которой изображённая не могла помочь. Андрей не стал указывать на ошибку. Он увидел, что Даниил слишком долго проводит кистью по одному месту, осветляя складку под глазом, и подставил чистую чашу для промывки. Товарищ поблагодарил, но продолжил.

На другой день лицо стало ещё печальнее. В серой зимней мастерской оно словно притягивало к себе весь свет. Савватий осмотрел доску и не сделал замечаний. Андрей же помнил прежние споры о том, где заканчивается человеческое страдание и начинается образ. Он опасался, что Даниил перенесёт в работу не пережитую правду, а одну-единственную память, от которой не может освободиться. Но как сказать это человеку, ещё не назвавшему свою беду? Впервые Андрей пожалел о лёгкости, с которой прежде требовал ответа на всякое молчание.

Однажды вечером Даниил сам остановил работу. Он не убрал кистей и долго смотрел на неоконченную Богородицу, затем встал, подошёл к печи и протянул ладони над слабым жаром. Андрей, не отрываясь от своей доски, услышал, как тот спросил, помнит ли он сказанное за первой трапезой. Андрей положил кисть.

— Про мор?

Даниил кивнул. Он смотрел не на друга, а на тёмный шов между камнями у печи. В этот час в мастерской уже никого не было, только ветер толкал ставню. Он заговорил тихо, без приготовленных слов.

Сначала Даниил писал в тамошней церкви. Ему обещали помощников, но те перестали приходить один за другим: кто заболел, кто ушёл к родным, кто боялся прикоснуться к вещам умерших. Потом священник попросил вынести тело человека, которого соседи не решались трогать. Даниил пошёл с ним. За первым погребением последовали другие; изо дня в день находилась работа, не требовавшая ни красок, ни опытной руки. Лопаты затупились на каменистой земле, а мокрый глинистый грунт так лип к железу, что его приходилось снимать сапогом. Ночью у Даниила сводило пальцы, но утром снова звали.

Дольше всего в памяти остался старик, попросивший похоронить жену. Когда Даниил с другим монахом вошёл в избу, тот сидел у печи и держал в руке половник. Изба давно остыла, но старик словно всё собирался ставить горшок на огонь.

— Забирайте, — сказал он и не сразу поднялся. — Только полотно не снимайте. Она сама шила.

Пока они выносили тело, он ворчал, что жена накануне плохо прикрыла печную заслонку, что молоко теперь прокиснет, что курицу некому накормить. Даниил сначала думал, будто старик не понимает случившегося. Потом услышал, как тот обращается к жене по имени, едва различимо, почти без голоса. На кладбище он расправил на ней край полотна, всё ещё не поднимая глаз. Через три дня не стало и его.

Даниил вынул из дорожной сумы маленькую деревянную ложку. Андрей узнал предмет, который видел в первый вечер. Жена старика кормила его этой ложкой во время болезни; после

погребения вещь осталась на лавке среди запертых дверей и молчаливых комнат. Даниил взял её, сам не понимая зачем. Теперь положил на ладонь Андрею.

— Что с ней делать?

Андрей ощутил неровный, стёртый край. Дерево было лёгким и чистым. Вернул ложку товарищу, не найдя ни одного слова, которое сделало бы ответом.

Андрей вспомнил предмет в дорожной сумке и ничего не сказал. Больше всего его поразило не количество смертей. Он видел, как Даниил сейчас обхватил кисть пальцами: крепко, с усилием, словно держал не тонкую деревянную ручку, а тяжёлую лопату. Страдание осталось в движениях, даже когда на глазах у всех возвращались привычные ремесленные заботы.

— Мне нужно было уйти оттуда, — произнёс Даниил. — Но я не мог сразу снова писать.

Андрей хотел ответить, что время исцеляет, и удержался. Старик на кладбище тоже, наверное, слышал подобные слова. Он просто передвинул к товарищу чашу с тёплой водой и взял грязную тряпицу, чтобы вымыть её. На следующий день предложил самому приготовить грунт для новой доски, а Богородицу пока отставить к стене, не закрывая полотном. Даниил не спорил. Они целое утро занимались деревом, скоблили мелкие неровности, проверяли просушку, грели клей и держали раму, пока Фома закреплял распорку. Никакого особого решения это не принесло; к вечеру Даниил просто устал от работы, в которой не приходилось смотреть в глаза написанной женщине.

Икону он не трогал несколько дней. Андрей тоже не подходил к ней с советами. Наконец Даниил переставил образ к окну и снял часть тёмного письма вокруг глаз. На лице не исчезла скорбь, но взгляд перестал требовать, чтобы всякий входящий разделил его личное горе. Даниил положил свет на лоб, затем на переносицу, оставил у рта прежнюю суровую складку. Когда он отступил, Андрей увидел в этом лице не ту женщину, которая умерла в чужом селении, а возможность остаться рядом с живыми, знающими такую потерю. Он не сказал другу, что работа стала лучше; в ту минуту похвала прозвучала бы грубо.

Один из февральских дней выдался особенно тяжёлым. Привезли несколько заказных досок, и у одной при осмотре обнаружилась трещина на обороте. Кирилл утверждал, что она не страшнее старого сучка; Даниил советовал отложить доску до весны, чтобы проверить её в сухом помещении. Андрей нетерпеливо настаивал, что заказ нельзя задерживать: в соседней слободе ждали образ к семейному поминовению. Спор стал резче, когда выяснилось, что исправлять дерево всё равно придётся Кириллу, уже измученному хозяйственными поручениями. Тот снял рукавицы и молча показал ладони, потрескавшиеся от холода и клея. Андрей осёкся. Он привык мыслить трудностью иконы как трудностью собственной кисти, забывая, что до неё доска проживает в руках плотников долгие недели. Они вместе перенесли повреждённую вещь на полку, а для срочного заказа взяли меньшую, но надёжную доску.

За обедом Кирилл не говорил об утреннем споре. Андрей сел рядом с ним и спросил, удастся ли изготовить новую подставку, которая не будет уводить влажную доску к печи. Старший работник объяснял долго, показывая руками, как дерево держится на торцах и куда должен проходить воздух. Андрей слушал внимательнее, чем привык слушать советы о красках. Вечером он помогал Фоме строгать брусок для новой подставки; стружка забивалась за пазуху, и гладкая линия выходила далеко не сразу. Даниил проходил мимо, увидел неумелый труд Андрея и без слов подал ему более острый нож. Утром подставка уже стояла у стены. Даниил проверил, крепко ли держатся ножки, и вместе с Кириллом поставил на неё влажную доску. Та больше не клонилась к печи.

Зима тянулась. В мастерской они опять работали бок о бок, но разлука научила обоих терпению. Раньше Андрей немедленно показывал Даниилу любую неровность, теперь прежде проверял, не изменится ли она при другом освещении. Даниил перестал прятать усталость за шутками и иногда первым просил помощи с доской. Фома, поначалу боявшийся двух старших мастеров сразу, вскоре обнаружил, что можно обратиться к одному, если другой сердится;

однако Савватий быстро пресёк эту хитрость, заставив его отвечать за собственную кисть независимо от чужих настроений.

Однажды им велели принести из леса сухих ветвей. Снег под деревьями лежал глубоко, и Даниил шёл медленно, проверяя ногой путь. Андрей захватил топор, но они почти не рубили: искали поваленные сучья, которые не требовали лишнего труда. На опушке молодой берёзовый ствол согнулся под тяжёлым комом снега. Даниил стряхнул часть белой ноши и отступил. Берёза распрямилась лишь наполовину. Андрей потянулся помочь ей ещё, но товарищ придержал его руку: ствол мог треснуть, если резко выпрямлять. Они оставили дерево и пошли дальше. Через несколько шагов Андрей оглянулся. Берёза стояла криво, зато корень держал её крепко.

Вечером, работая над складками одежды, Андрей вспомнил эту кривизну. Прежде он непременно выпрямил бы линию, чтобы глаз ни за что не зацепился. Теперь оставил один чуть неровный изгиб: без него ткань теряла тяжесть. Даниил увидел перемену и одобрения не высказал. Зато спросил, не собирается ли Андрей всякую ошибку оправдывать берёзой. Это была знакомая насмешка, и Андрей неожиданно обрадовался ей. Короткого замечания хватило, чтобы удержать его от нового правила, столь же жёсткого, как прежние.

Первые капли с крыши появились в конце долгой оттепели, когда обитель ещё жила зимним распорядком. Из-под наметённого снега у колодца проступила тёмная земля, и над бочкой для воды поднялся слабый запах сырого дерева. Даниил вышел во двор с вымытыми чашками; Андрей держал готовую к грунтовке доску. Они вместе остановились у порога. Андрей почти спросил, надолго ли друг останется, но увидел, с какой осторожностью тот ставит чашки, чтобы не повредить руки, и сам понял цену вопроса. Нельзя требовать от человека обещания на годы, когда он едва начал возвращаться к нынешнему дню.

Наутро в мастерской обнаружилось, что ни один из них не принёс чистой воды для красок. Фома, увидев пустую бадью, безнадёжно вздохнул. Даниил взял вёдра; Андрей пошёл с ним. Дорожка к колодцу уже снова подмёрзла, вода в глубине стояла чёрная и тихая. Пока один вытягивал ведро, другой придерживал цепь, чтобы та не ударила по срубу. Вернувшись, они без слов разделили чашки и доски. На соседних столах лежали ещё не начатые образы; их будущее было неизвестно, но сегодняшний труд больше не казался Андрею одиноким.

К вечеру Фома попросил показать рисунок руки святого на своём образе. Даниил, помня прежнюю неловкость юноши, пригласил его к своему столу. Андрей подошёл с другой стороны. Сначала оба заговорили одновременно и тут же замолчали: Фома растерянно смотрел то на одного, то на другого. Тогда Даниил попросил его самому провести ту линию, которую он никак не решался закончить. Юноша повёл углём по доске, рука дрогнула, линия ушла в сторону. Андрей уже протянул ладонь, желая исправить, но Даниил незаметно остановил его. Фома сам увидел промах, стёр след и начал снова. На этот раз получилось лучше. Он поднял глаза в ожидании оценки. Андрей кивнул, Даниил придвинул чистую тряпицу. Работать оставалось много. За окном быстро темнело, но никто не торопил юношу. Андрей посмотрел на две стоявшие рядом доски и подумал, как сильно изменилось в мастерской за один зимний день — не от возвращения прежних разговоров, а от того, что чужое терпение снова стало частью общего труда.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
ЧИСТАЯ ДОСКА

Широкую липовую доску принесли в мастерскую вдвоём. Кирилл шёл впереди, пятясь через порог, другой работник держал противоположный край, и оба берегли белую поверхность от дверного косяка. На обороте оставались следы тесла, а в торцах виднелись вставленные шпонки. Дерево сохло долго; зимой его берегли от печного жара, летом — от сырости. Кирилл поставил доску на козлы и, не дожидаясь благодарности, велел никому не двигать её до

прихода игумена. Последние слова относились прежде всего к Андрею: тот уже успел подойти ближе и прищурился, словно искал на белом грунте ещё не проведённую линию.

Даниил осмотрел дерево иначе. Постучал по торцу, проверил, не поднялся ли левкас возле ковчега, попросил Фому принести мягкую тряпицу и снял пылинку с одного угла. Андрей едва удержался от усмешки: товарищ мог бы, кажется, всю жизнь прожить рядом с доской, так и не решившись начать. Но над собственной работой он часто задерживался не меньше. Белая поверхность притягивала обоих разным образом: Андрею сулила возможность, Даниилу предъявляла обязательства. Перед неизвестным заказом они ещё могли не спорить. Спор начинался там, где приходилось решать, кому принадлежит первый след.

После службы игумен привёл заказчика. Мужчина был одет без броского богатства, но добротное сукно, подбитое мехом, и ровно подстриженная борода выдавали достаток. Он снял шапку перед образами, оглядел столы и сразу спросил, кто напишет Спаса. Услышав, что работать будут двое, нахмурился. Ему обещали хороший образ; он боялся, что две разные руки оставят на одном лике видимые швы. Для домашнего моления нужен был Спас Вседержитель, достаточно строгий, чтобы дети и домочадцы помнили о суде, и достаточно богатый, чтобы не было стыдно поставить его в переднем углу во время приёма гостей. Мужчина не пытался скрыть последнего требования. Он говорил о золоте так же деловито, как о плате за работу.

— Лицо должно быть строгое, — повторил он. — Только не делайте его сердитым. Мой младший сын от такого образа и подойти не решится.

Андрей поднял глаза. Просьба удивила его своей противоречивостью и человеческой точностью. Заказчик до того требовал величия, не умея его объяснить; теперь выяснилось, что он думает о собственном ребёнке. Даниил спросил, где икона будет стоять и с какой стороны падает свет. Мужчина не знал, какой ответ нужен, но охотно рассказал о небольшой горнице, оконце возле лавки и лампаде, которую зажигают перед сном. Он уже не казался чужим человеком, пришедшим навязывать мастерам свой вкус: ему хотелось, чтобы образ занял место в привычной жизни, о которой художники ничего не знали.

Когда заказчик ушёл, игумен задержался. Ему не нравилось, что Андрей несколько раз едва не возразил человеку, от чьего заказа зависела покупка муки на ближайшие недели. Игумен велел помнить не только о красоте лика, но и о той работе, которую обеспечит плата. Андрей хотел объяснить, что нельзя измерять образ потребностью в зерне. Однако у дверей стоял Кирилл, уставший после переноски тяжёлой доски, а возле печи Фома сушил кисти, которые сам промывал до темноты. Андрей представил себе всех этих людей и промолчал. Их труд тоже был вложен в белую поверхность.

Прежде чем приступить к письму, пришлось решить и более прозаические вопросы. Тяжёлая доска не проходила через обычную подставку, её край давил на деревянную перекладину, и Кирилл настоял на новой опоре. Он отмерял брусок шнуром, проверял, не поведёт ли его от влажности, ругался на Фому, который принёс слишком короткий клин. Андрей уже хотел попросить не задерживать работу, но вспомнил другую треснувшую доску и помог поднять опору. Вдвоём с Даниилом они держали тяжёлый образ, пока Кирилл закреплял поперечину. Из-за неудачного движения Андрей едва не прижал палец товарища; тот отдёрнул руку и сердито попросил не думать о будущем лике раньше, чем они научатся безопасно ставить дерево. Они закончили лишь к полудню, когда уже следовало идти к службе. В этот день на белом левкасе так и не появилось ни одной линии, но мастера впервые почувствовали, что работать придётся не только друг с другом, но и с целой мастерской.

Вечером Андрей пошёл в амбар за сухим полотном и встретил там женщину, которая помогала хранить заказанные ткани. Она спросила, правда ли для богатого дома пишут большой образ Спаса. Услышав ответ, заметила, что однажды видела такую икону: перед ней хозяин заставлял работников стоять с опущенными глазами, хотя сам не мог долго выдержать службу. Андрей хотел возразить, что образ не отвечает за человеческую жестокость, но женщина уже

ушла к своей работе. Ему осталось неприятное чувство. Он пытался решить, можно ли написать Спаса строгим, не позволяя этой строгости стать оружием в руках человека, который любит устрашать других. Но ведь заказчик говорил и о младшем сыне. За одно лицо могли держаться совершенно разные надежды. Эту трудность нельзя было устранить ни золотом, ни правильным рисунком.

Сначала сделали рисунок. Андрей наметил высокий лоб и широкое движение плеч, Даниил предложил чуть опустить глаза и сохранить больше свободного места вокруг головы. Сами по себе обе поправки были невелики, но рядом они упорно сопротивлялись друг другу. У Андрея лик получался обращённым к зрителю с силой, почти требовательностью; у Даниила — с таким спокойствием, что Андрей боялся потерять обещанную заказчику строгость. Они стирали уголь мягкой тканью, ставили доску к окну, переносили на противоположный стол и опять отступали. Каждый полагался не только на глаз, но и на память о прежней работе. Андрей вспоминал лицо человека после пожара, Даниил — женщину, чьё горе он едва научился не переносить прямо на икону.

На исходе первого дня Фома заглянул в мастерскую и обнаружил вместо готового рисунка целое поле стёртых линий. Он принёс новую чашку с водой, собрал с пола угольные крошки и заметил, что для хорошего образа понадобилось бы меньше споров. Даниил предложил ему попробовать самому разметить доску. Фома отказался — слишком быстро, чтобы это было убедительно. Когда он вышел, Андрей неожиданно признал, что часть затруднений возникает от простого упрямства: однажды возразив, они продолжали защищать слова, даже если доска показывала обратное. Они снова стерли рисунок, оставив только главное, и начали без разговора. К вечеру возникло лицо, которое ни один не мог назвать своим.

Утром обнаружилось, что привычные обязанности им придётся распределять заново. Даниил привык готовить цвет сам, Андрей тоже не любил ждать, пока товарищ растирает пигмент. Два раза они одновременно потянулись к одной чашке, а затем оба оставили её, уступая друг другу. Фома наблюдал с нескрываемым любопытством: ещё недавно каждый мастер сердился бы на него за подобную нерешительность, а теперь старшие не могли решить, кто первым возьмёт кисть. Наконец Даниил отвёл Андрею первоначальный санкирь и высветления лица, себе оставил одежды и часть фона, условившись, что всякое важное исправление будет видно обоим до того, как его закроет следующий слой. Слова казались разумными до первой настоящей ошибки.

В тот день под вечер Даниил случайно задел локтем чашу с охрой. Краска пролилась не на лицо, а на нижнее поле доски. Андрей мгновенно бросился за полотном, но товарищ остановил его: тереть свежую поверхность грубой тканью значило повредить грунт. Вместо этого они приподняли доску, дали воде стечь по заранее поставленному лотку и осторожно сняли остаток мягкой кистью. На полу осталась жёлтая лужица, несколько минут оба стояли над ней, тяжело дыша. Позже Даниил извинился. Андрей едва не ответил теми словами, которые сам ненавидел слышать в час неудачи, — «надо быть внимательнее», — и удержался. Они вдвоём вымыли пол и приготовили краску заново. Ничто так не помогло общей работе, как этот неумышленный ущерб, который нельзя было свалить на соперника.

На следующее утро в мастерской запахло растёртой охрой и клеем. Даниил проверил левкас, Андрей приготовил санкирь. В первый час работали легко: каждый знал, что нужно сделать, а присутствие товарища не мешало. Потом Андрей стал высветлять скулу. Под кистью лицо приобретало объём; небольшая тень у глаза давала тому глубину, которой прежде не хватало. Он помнил, как много раз искал именно этого, и чувствовал знакомое удовольствие мастера, наконец управляющего краской. Даниил долго молчал, затем попросил отставить доску подальше. С расстояния стало видно, что из плоскости выступает не только взгляд, но и сама щека. Вместо Спаса перед ними словно появлялся красивый человек, которого можно встретить на улице.

Андрей не согласился. Ему казалось, что товарищ боится всякого приближения к живому лицу, будто плоть необходимо прятать, чтобы не помешать молитве. Он взял доску за край и поставил так, чтобы её было видно из глубины мастерской.

— Ты хочешь, чтобы он смотрел не на человека, а мимо него?

Даниил отступил к двери. Некоторое время молчал, затем указал на щёку.

— Мне не эта глубина мешает. Ты ей любуешься.

— А ты боишься живого лица, — с досадой бросил Андрей.

— Нет. Боюсь, что всякий увидит прежде твою руку.

Андрей отложил краску и сердито отошёл к окну. Упрёк задел не потому, что был несправедлив, а потому, что в работе действительно было чем любоваться. Он вспомнил, как Феофан однажды остановил его перед особенно удачным переходом света, и почувствовал, что спорит теперь не только с Даниилом.

Фома, пришедший за подставкой, застал их молча стоящими у противоположных стен. Он понял, что лучше уйти, но перед дверью споткнулся о низкую лавку. Чашка с водой покачнулась. Андрей успел подхватить её, Даниил — удержать доску. Несколько мгновений оба думали только о том, чтобы не погубить общий труд. Когда опасность миновала, каждый остался с рукой на своём краю. Трудно было продолжать спор о том, чьё решение лучше, после того как оба одинаково испугались за одну икону. Однако примирения это не принесло. Андрей вновь вернулся к скуле, а Даниил весь остаток дня занимался другой работой.

Пока они спорили о щеке, случилось и совсем простое затруднение. Большой заказ занял лучшую подставку, а две небольшие иконы, ожидавшие просушки, пришлось перенести на дальнюю полку. Там от стены тянуло влагой. У одной доски вспучился край, и Фома, обнаружив повреждение, побледнел: он сам переставлял её утром. Андрей сначала хотел спросить, кто позволил ему хозяйничать без старших, но Даниил спокойно снял образ и показал всем место, где влажность уже добралась до левкаса. Нельзя было исправить беду одним окриком. Пришлось освободить стол, принести другую подставку, проверить оставшиеся доски, а повреждённую поставить так, чтобы она сохла медленно и ровно. Большой Спас стоял среди этого беспорядка, будто напоминал, что его величие не освобождает мастерскую от забот о других работах.

Ночью, когда Андрей снова думал о собственном споре, ему вдруг стало неприятно за утреннюю резкость. Он вспомнил, что Фома передвинул иконы только потому, что старшие не велели оставлять проход загромождённым. Завтра нужно было самому показать ему, какие места в мастерской сухие, а какие опасны. Порой легче было углубить взгляд Спаса, чем признать свою долю в небольшой хозяйственной ошибке. Андрей не говорил об этом Даниилу. На рассвете он первым пришёл и перенёс остальные доски к печи — не слишком близко, как показал Савватий, — прежде чем заняться ликом.

К вечеру Савватий осмотрел образ. Старик не стал решать за них спор. Вместо этого велел поставить доску возле двери и позвал старшего работника, который принес её утром. Кирилл, не зная, зачем его зовут, долго смотрел на лик и наконец признался, что вблизи глаз кажется строгим, а издалека лицо словно сердится. Андрей пытался объяснить, что так действует боковой свет. Савватий подвёл его к окну: именно там заказчик будет видеть икону большую часть дня. Если бы спор шёл только о красоте мазка, можно было бы спорить до весны. Но образ предназначался для другого дома, других глаз, другого освещения.

Ночью Андрей долго не спал. В памяти вставали две вещи: лицо заказчика, рассказавшего о младшем сыне, и собственное удовольствие, когда выступила из доски тёплая щека. Он ворочался на узкой постели, слушал, как в коридоре кашляют братья, как скрипят шаги позднего служителя. Ему не хотелось соглашаться с Даниилом. Ещё меньше хотелось признавать, что из-за упрямства он готов написать для чужого дома образ, которым будет недоволен. Под

утро он встал и пришёл в мастерскую. Даниил уже сидел там, укрыв колени старым плащом. Он тоже не спал, но первым ничего не сказал.

В слабом свете лампады лица почти не было видно. Остались тёмный овал, глаза и тонкая полоса света. Андрей увидел, что если приглушить соседние места, углубление глаза будет заметно само собой, без лишнего выдвижения скулы. Он не стал сразу касаться доски: ночной свет обманывает, а краску, положенную в темноте, трудно оценить утром. Даниил понял, что тот нашёл решение, и только придвинул стул. Они сидели до начала службы, отмечая на дощечке, что следует изменить при дневном свете.

Утром Андрей снял часть высветления со щеки, а Даниил осторожно изменил тень возле глаза. Небольшая перемена заставила весь лик собраться. Взгляд остался глубоким, но на зрителя больше не выходило красивое человеческое лицо, требующее восхищения. Андрей отступил и впервые за много дней ощутил, что не обязан отстаивать ни одну отдельную линию. Вместе с тем ему было досадно: решение оказалось так просто, что ради него не стоило ссориться. Эта досада тоже стала частью работы; перед следующей поправкой он начал чаще смотреть, не следует ли сначала изменить соседний тон.

Однажды у мастеров возник спор не из-за лика, а из-за одежды. Андрей положил на складку холодный свет, чтобы золотой фон не сделал всё изображение слишком тёплым. Даниил счёл тон красивым, но чужим для остального письма; он хотел повторить более глухую охру, которую положили на соседнем рукаве. До вечера они пытались удержать оба цвета. Наутро Фома, увидев доску при свежем свете, спросил, почему одна рука Спаса кажется ближе другой. Вопрос оказался точнее прежних доводов. Андрей изменил складку, не потому что Даниил победил в споре, а потому что простодушный взгляд послушника обнаружил ошибку, скрывшуюся от обоих умелых мастеров. После этого они чаще давали доске постоять перед человеком, который не знает, кто и почему положил тот или другой свет.

К обеду приходили заказчики других образов, и мастерская вновь наполнялась обычной неразберихой. Кирилл мерил рамы, Савватий бранил Фому за разлитый клей, монахи приносили свечи к иконам, которые ещё требовали высыхания. Большой Спас стоял посреди всех этих дел, не позволяя мастерам долго скрываться в собственных размышлениях. Иногда требовалось отложить тонкую работу, чтобы помочь вынести тяжёлую доску или перенести в печь поленья. Возвращаясь, Андрей замечал ошибки, которых не видел до перерыва. Работа учила не только терпению, но и способности оставить образ на час ради дела, без которого он никогда не будет окончен.

Икону писали почти месяц. Разногласия не исчезли. Иногда Андрей видел необходимую свободу там, где Даниил замечал лишь непростительную торопливость; иногда друг, желая сохранить верность привычному письму, не сразу принимал новый свет. Но споры перестали быть состязанием в ответах. Они становились проверкой: отступить на несколько шагов, повернуть доску, подождать, пока высохнет слой, посмотреть при другом освещении. Если один не мог доказать своего взгляда работой, второй не обязан был ему верить. И наоборот. Такое соседство требовало больше терпения, чем одиночество, зато позволяло не прятать ошибку за красивым словом.

Заказчик приходил дважды. В первый раз он похвалил лицо, но обеспокоился, что золота меньше ожидаемого. Даниил показал, как узкая светлая полоса на поле делает золото заметнее без лишнего блеска; мужчина слушал не очень охотно, но согласился подождать окончания. Во второй раз он привёл старшего слугу, который должен был нести икону домой, чтобы тот проверил, удобны ли крепления. Слуга заметил, что доска тяжела и в узкой горнице её придётся ставить под небольшим углом. Этот простой расчёт заставил мастеров ещё раз проверить, как лягут свет и тень на лице. Андрей вдруг понял, что в художественное решение входит даже то, как чужой человек поднимет и поставит готовый образ.

В последнюю неделю они уже не помнили, чья кисть начала ту или другую часть. Складку Андрей исправил поверх Даниилова работы, свет на запястье Даниил положил после Андреева рисунка, золото готовили вместе. Фома иногда принимался угадывать руку каждого и неизменно ошибался. Угадывание забавляло его меньше, когда выяснилось, что одно из высветлений сделано им самим под присмотром обоих мастеров. Андрей почувствовал странное облегчение. Икона переставала служить доказательством, чей глаз острее. Нельзя было уже снять одну из двух рук, не разрушив целого.

Когда поставили законченного Спаса к стене, Савватий пришёл раньше игумена. Долго рассматривал поверхность, проверил, хорошо ли закреплён край, нет ли следов недосушенной краски. Лица он не хвалил. Потом попросил Фому открыть дверь в коридор, чтобы посмотреть издали. В течение нескольких мгновений никто не говорил. Андрей ожидал привычного замечания, почти желал его: тогда можно будет ещё поработать и не отдавать икону. Но Савватий направился к выходу. Уже у порога сказал, что с образом теперь должно жить не двоим мастерам, а семье, для которой его написали. Это прозвучало не как наставление, а как разрешение оставить работу в покое.

Заказчик приехал в светлый день, когда снег у стен почернел от талой воды. Он сначала осмотрел золото, потом узор на одежде, а затем долго стоял перед ликом. Андрей заметил, как мужчина непроизвольно снял шапку, которую до того держал в руках, и положил на лавку. Он не нашёл слов, ради которых прежде так тревожно просил строгости и красоты. Наконец признался, что Спас смотрит сурово, но ему не страшно. На прощание он рассказал, что младший сын уже спрашивал, когда привезут икону. Андрей проводил носильщиков до ворот, помог уложить доску между мягкими свёртками и почувствовал ту же боль расставания, что и Даниил несколькими неделями раньше. Только теперь от этой боли не хотелось ничего исправлять.

После ухода заказчика в мастерскую вернулась привычная теснота. Фома хотел сразу занять свободное место своими досками, но Кирилл настоял, чтобы сначала очистили стол от засохших пятен и проверили его перекладины. Андрей помогал скрести дерево и всё время ловил себя на том, что ищет глазами большой тёмный лик, прежде стоявший у стены. Даниил тоже оглядывался, хотя делал вид, что озабочен только чашками. Оказалось, они привыкли обходить образ с определённой стороны, говорить возле него тише и передвигать инструменты так, чтобы не ударить по ковчегу. Пустое место не было настоящей пустотой: несколько недель труда успели изменить движения людей.

В этот вечер монастырский звон застал их за уборкой. Андрей вынес на двор ведро с мутной водой. Оттепель пахла землёй и сырыми досками; над воротами медленно чернели края снега. Он думал о чужом доме, где теперь появится написанный ими Спас. Возможно, заказчик повесит его слишком высоко. Возможно, ребёнок поначалу испугается строгого лица, а потом привыкнет. И если так случится, мастера об этом никогда не узнают. Андрей вылил воду возле хозяйственной канавы и вернулся в мастерскую без желания спрашивать, правильно ли они всё сделали.

На месте большого образа остался светлый прямоугольник стола, где дерево не успело потемнеть от ежедневной работы. Даниил принёс новую небольшую доску, Андрей взял уголь. Они не спешили начинать. Первый штрих казался важнее не потому, что нарушал белизну, а потому, что обещал труд, в который войдут чужие руки, чужое ожидание и не одна ошибка. Андрей думал о старых образцах, с которых учился списывать лица. Прежде он искал в них готовое решение; после совместного Спаса стал замечать, сколько решений оставлено прежними мастерами для тех, кто придёт после. Он не произнёс это вслух. Даниил уже приготовил чашки, а Фома возился у печи. Начинался обычный рабочий день, и его обычность была необходимее нового спора о совершенстве.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
ПРОХОР С ГОРОДЦА

После того как Спаса увезли, в мастерской наступила недолгая передышка, которой никто не умел пользоваться. Андрей ещё несколько дней ловил себя на желании отойти от стола и проверить, не слишком ли выступила тень у глаза, а потом вспоминал, что доска уже стоит в чужом доме. Фома занял освободившееся место, принёс начатые образы и старался работать особенно тихо, словно боялся нарушить память о большом заказе. Даниил, наоборот, стал больше разговаривать о повседневных делах, просил помочь с колышками для подставок, проверял, как сохнут доски. Андрей сердился на эту обычность и вместе с тем понимал, что она спасает его от бесполезного возвращения к завершённому.

Весна приближалась медленно. По утрам снег ещё держал сани, к полудню полозья вязли возле ворот, в колеях появлялась тёмная вода. Из соседних селений стали чаще приезжать люди: одни спрашивали о сроках заказа, другие приносили старые образы на починку, третьи просто просились к теплу и ждали обратной дороги. Между утренней службой и вечерней уборкой не оставалось свободного часа, однако Андрей всё ещё чувствовал отсутствие большой иконы. Нельзя было отделить от неё ни своей руки, ни Даниилова, и это казалось теперь не потерей, а редким достижением, о котором лучше не говорить вслух.

К вечеру приехал незнакомый монах. Андрей сначала услышал во дворе голос Савватия — тот редко говорил громко, а теперь смеялся так, что Фома вышел из мастерской посмотреть, не случилось ли беды. Возле крыльца стоял высокий пожилой человек в дорожной одежде, с тяжёлой сумой через плечо. Снег и грязь высохли на подоле тёмными полосами. Лицо его было узким, почти суровым; только при встрече с Савватием у глаз появилась неожиданная мягкость. Старик принял гостя без обычных наставлений о чистоте одежды и почтительном входе в мастерскую. Прежде чем представить его, помог снять суму и поставил к огню, чтобы та не лежала на сыром полу.

Гостя звали Прохором с Городца. Андрей слышал это имя в мастерских и на дорогах. О Феофане любили рассказывать, каким движением он положил свет на стену, как рассердился на неумелого помощника, как заставил всех замолчать перед росписью. О Прохоре говорили иначе: показывали образ или рисунок и замечали, что здесь работала его рука, а там кто-то попытался повторить её без понимания. Его знали по устойчивому труду, который редко становился поводом для легенд. Андрей почувствовал перед незнакомцем неловкость, похожую на ту, что испытал при первой встрече с Феофаном, но Прохор не дал ей разрастись. Он спросил, где можно вымыть руки, и осмотрел, достаточно ли сухо в мастерской для дорожных книг и рисунков.

За ужином Савватий расспрашивал гостя о людях, с которыми не виделся годами. Из разговора выяснилось, что заказчик увезённого Спаса уже рассказывал о двух мастерах, написавших один лик. Прохор слышал и о похвалах, и о недоумении мужчины: икону заказали строгую, а она получилась такой, что перед нею не хочется отворачиваться. Андрей насторожился: чужой пересказ мог превратить сложный труд в забавную причуду. Прохор успокоил его не словами, а тем, что попросил показать оставшиеся наброски. Не готовую славу хотел видеть старый мастер, а путь к работе.

У Прохора были свои дорожные привычки, и они сперва казались Андрею почти странными. Он не позволял быстро раскрывать свёртки возле огня, пока промёрзшие доски не отогреются, иначе по краям выступала влага. Наутро прежде икон попросил показать место, где хранили краски, и внимательно осмотрел жерновок, которым растирали твёрдые зёрна пигмента. Отложил один мешочек: порошок в нём начал сбиваться в тяжёлые комочки. Савватий возразил, что краску ещё можно спасти, но Прохор отказался пускать её на лицо, пока не проверят чистоту. Андрей наблюдал за этим с терпением, близким к раздражению. Он ждал великого мастера и думал, что великий мастер должен сразу говорить о живописи. Прохор же занимался сухостью красок и тем, как сложена ткань. Только к вечеру Андрей вспомнил Феофана: тот тоже сперва проверял штукатурку и руки помощников, а уже потом брался за стену.

Поздно вечером Прохор позвал Фому и спросил, умеет ли он точить нож для зачистки доски. Тот с гордостью ответил, что умеет. Старик подал ему тупой нож и попросил показать. Юноша долго водил лезвием по камню, пока не заметил, что Прохор внимательно смотрит не на остроту, а на его руки. Старик поправил, как тот держит нож, и без укоризны велел повторить движение. Андрей, стоявший рядом, ожидал простого приказа или насмешки, но увидел редкое терпение к труду, который никто не назовёт великим. Прохор отдал Фоме нож и разрешил работать дальше. Мастерская получила не красивую речь о служении, а инструмент, который наутро действительно пригодился.

Утром Андрей принёс рисунки, сохранившиеся от общего Спаса. Часть была покрыта стёртыми угольными линиями, на другой виднелись следы капель, третью Фома успел использовать для пробного цвета. Прохор не торопился ни хвалить, ни осуждать. Сложил их рядом по порядку, как складывают доски перед отправкой, чтобы ничего не перепутать, и указал, где два мастера сначала сопротивлялись друг другу, а затем перестали защищать собственные решения. От его взгляда не укрылись даже места, которые Андрей считал неудачами, скрытыми под окончательной краской. Старик спросил, кто первым предложил убрать тень с щеки. Андрей ответил, что не помнит. Прохор только кивнул, словно именно это и хотел услышать.

Ему дали место у дальнего окна. В первые дни Андрей испытывал разочарование, которого стыдился. Прохор работал без внешнего блеска, какой запоминался у Феофана. Он долго проверял рисунок, не позволял помощнику спешить с приготовлением краски, тщательно накрывал доску после работы и почти никогда не менял решение, не проверив его на расстоянии. За ним было трудно наблюдать: там, где Феофан одним движением заставлял свет будто вспыхнуть, Прохор возвращался к малым, не всегда заметным поправкам. Иногда целое утро он занимался одной складкой или пальцем благословляющей руки. Андрей начинал скучать. Зато Фома, которому обычно доставались самые незаметные дела, впервые перестал чувствовать себя лишним: Прохор замечал, кто правильно высушил дощечку, у кого с вечера осталась чистая кисть, и благодарил за работу без громких слов.

На третий день Прохор написал лицо святого на небольшой доске. Андрей не мог понять, почему оно так заметно отличалось от привычного образца, хотя все главные черты стояли на своих местах. Он придвинул к столу старый список и начал сравнивать. Нос был едва длиннее, угол века повёрнут иначе, свет на лбу приходился чуть ниже, складка возле губ не продолжалась дальше нужного. Каждая перемена отдельно казалась ничтожной; вместе они давали лицу особенную собранность. Андрей испытал почти раздражение. Он давно искал свободу письма в заметном движении кисти, а этот старик, будто не изменяя ничего, обошёл его самый смелый поиск.

Прохор не стал объяснять разницу длинным наставлением. Он положил между двумя рисунками тонкую деревянную щепку, отметив ей линию носа, затем перевёл щепку к виску. Увидев, что Андрей опять хочет говорить, жестом позвал его к двери.

— А теперь смотри отсюда.

С расстояния Андрей увидел не удачную хитрость, а меру. Если бы Прохор изменил ещё немного, лицо стало бы новым ради самого отличия. Он остановился раньше. Андрей недоверчиво проверил рисунок в другом свете и обнаружил, что небольшое расхождение с привычным письмом не отменяет знакомого святого, а открывает его заново.

Вечером Прохор достал из сумы маленькую старую икону. Дерево по краям потемнело, левкас местами отстал, по тёмному фону проходили тонкие трещины. Савватий сразу узнал свёрток и спросил, неужели гость до сих пор возит с собой этот ветхий образ. Прохор ответил, что возит, потому что без него слишком легко поверить в собственную мудрость. Он поставил икону возле новой работы и зажёг лампаду. Андрей сначала видел только потускневшую краску. Потом, подбирая место, откуда лучше рассмотреть лицо, заметил чуть неуверенный,

но живой изгиб брови и движение руки, которое безвестный мастер не побоялся сохранить, хотя мог бы выпрямить по образцу.

— Кто писал? — спросил Андрей.

Прохор покачал головой. Имени не сохранилось. Мастера давно не было в живых, даже места, где он работал, никто уже точно не называл. Старик знал лишь, откуда к нему попала икона. Для Андрея отсутствие имени оказалось неприятным. В новейших образах он привык узнавать руку Феофана, Даниила, Савватия; здесь было трудно даже представить человека, который в один далёкий вечер держал эту доску перед собой. Прохор будто прочёл его мысль и предложил искать не имя, а труд: где мастер подчинился известному письму, где не решился нарушить его, а где сделал крошечный выбор, на который не мог бы пойти простой переписчик.

На следующий день Андрей попытался повторить движение того старого взгляда на собственной пробной доске. Первые линии легли верно, однако лицо получалось пустым. Он поправил бровь, затем перенёс свет, потом снова сверился с оригиналом. Чем точнее становилось сходство, тем меньше оставалось жизни, которая его привлекла. Даниил молча наблюдал за неудачей, а Прохор вечером попросил поставить обе дощечки рядом. Вместо того чтобы порицать ученика, он показал, как старый мастер вынужден был приспособить линию к неровности левкаса. Андрей копировал найденный изгиб как свободное решение; на деле тот мог возникнуть из сопротивления дерева и руки. Нельзя было перенести чужой ответ, не пережив вопроса, который его вызвал.

В первые дни весенней сырости к обители приехал гонец из соседней слободы. Он просил поспешить с образом, заказанным для больного человека: домашние боялись, что тот не доживёт до срока. Доска была начата другим мастером и лежала у окна под полотном; заказчик хотел, чтобы работу закончили как можно скорее. Андрей предложил оставить на ней только необходимые высветления и отправить к вечеру. Прохор открыл полотно, долго смотрел на темнеющий лик, затем проверил, как высохли прежние слои. Писать поверх сырой краски было опасно, и он отказался. Гонец сердился, уверял, что заплатят вдвое, просил пожалеть умирающего. Прохор предложил вместо спешной порчи послать пока готовый небольшой образ из монастырской церкви с благословения игумена и завершить заказ в надлежащий срок. Для этого пришлось объясняться с братией и устроить другую поездку, но к вечеру гонец уехал не с пустыми руками.

Андрей долго думал, не следовало ли всё-таки попытаться закончить икону. Ему казалось, что верная рука могла бы успеть. Прохор не спорил. На следующий день показал место, где краска ещё отходила от прежнего слоя при лёгком касании. Если бы они последовали Андрееву совету, образ мог облететь уже в пути и принести больному не утешение, а тревогу. Андрей был вынужден признать, что жалость тоже умеет требовать поспешности, выгодной не людям, а собственному чувству доброты. Прохор не превращал это в урок. Он просто продолжал сушить доску, пока грунт не стал надёжным.

После этого Андрей стал внимательнее к рабочим заботам Прохора. Старик часто отодвигал доску к стене, чтобы отвлечься от удачного места, и возвращался к ней лишь после другой работы. Он умел не спешить с исправлением, если не был уверен, что недостаток действительно мешает образу. Однажды на новой иконе высветление получилось особенно чистым. Андрей восхитился переходом света, но Прохор неожиданно снял почти всю плавь. Не потому, что она была плохо сделана: напротив, мастер испугался того удовольствия, которое доставила ему сама ловкость руки. Отказ был недешёвым — пришлось снова разводить цвет, подбирать тон, терять целый вечер. Андрей видел, как Прохор сердится на себя во время этой работы, и впервые понял, что сдержанность его письма держится не на спокойствии характера, а на преодолении собственного желания блеснуть.

Ещё до этого разговора Андрей видел, как Прохор спорил с Савватием о старом письме, которое нужно было укрепить. Савватий предлагал снять потемневшую краску возле края и

дать новый слой, чтобы изображение было яснее молящемуся. Прохор возражал: краска держалась прочно, а темнота возникла от времени и копоти; не следовало из любви к чистоте стирать чужую руку. Они спорили без зрителей, не подозревая, что Андрей стоит у двери. Наконец Савватий уступил, но так неохотно, что ещё два дня приходил смотреть, не ошибся ли товарищ. Прохор не торжествовал. Он оставил икону на полке, а вечером попросил Савватия снова осмотреть её при лучшем свете. Между ними не было ни ученика, ни безошибочного судьи. Два старых мастера сохраняли право не соглашаться, даже когда один принимал решение другого.

Андрей увидел в этом не учёный спор об обычае, а долгую привычку к совместному труду. Он часто боялся возражать человеку, которого уважал, будто всякое несогласие отнимает часть уважения. Теперь понял: Прохор приехал к Савватию не затем, чтобы ещё раз услышать от него знакомые похвалы. Ему нужен был человек, способный заметить то, что он сам пропустил. И Савватий, при всей своей резкости, не стыдился отказаться от собственной поправки, если товарищ показывал её ненужность.

Однажды Андрей застал Прохора и Савватия за разговором о Феофане. Старики вспоминали давний спор. Грек не терпел, когда святой на иконе утрачивал всякое сходство с живым человеком; Прохор опасался противоположного — что под заботой о плоти исчезнет пространство для молитвы. Они оба когда-то приводили убедительные доводы, а затем расходились к своим доскам и проверяли слова письмом. Савватий засмеялся, вспоминая, как каждый считал себя победителем, но к концу работы оба изменили несколько своих решений. Андрей слышал в этом разговоре больше, чем в торжественном наставлении: люди, которых он считал непререкаемыми мастерами, вовсе не обладали единственным ответом на вопрос о лице.

В мастерскую всё чаще заходили посланцы игумена. Прохор принимал их не при всех, уходил в маленькую комнату за трапезной, разбирал письма и спрашивал о сроках. Андрей заметил это и начал внимательнее прислушиваться к случайным словам о Москве. Однажды Савватий поручил ему привести в порядок подставки для длинных досок, какие используют при большой работе. По дороге к амбару Андрей всё возвращался мыслями к письмам. К длинным подставкам прибегали не ради обычного домашнего образа. Когда вернулся, Прохор уже сидел за столом с развёрнутым листом. Письмо было кратким. Москва собирала мастеров для соборной работы; назывались имена людей, которым можно доверить не маленькую домашнюю икону, а большую часть общего дела.

Прохор не пригласил Андрея сесть. Вместо этого попросил помочь поднять тяжёлую доску, которую они готовили к отправке. Андрей ухватился за край, почти не слушая указаний. Доска качнулась и ударилась о стол. Прохор остановил его резким словом; краска и грунт могли быть испорчены из-за мгновенной невнимательности. Андрей почувствовал горячий стыд. Досада сменилась ещё более неприятной мыслью: только что он думал о Москве, а чужую работу чуть не погубил здесь, у себя перед глазами. Прохор велел поставить доску обратно и принёс тряпицу. Пока они проверяли повреждение, он ни разу не упомянул письмо. Андрей сам понял, почему старик молчит.

Лишь к вечеру Прохор открыл ему причину приезда. Его просили присмотреться к мастерам, которых можно будет назвать для предстоящей работы. Он видел рисунки Андрея и общего Спаса, спрашивал о том, как тот писал у Феофана, наблюдал за его отношением к товарищам. Андрей сразу захотел знать, будет ли приглашён. Прохор свернул письмо и спрятал его в суму.

— Если позовут меня, назову и тебя. Но не думай, что имени достаточно.

Андрей почувствовал, как кровь ударила в лицо. Он готов был благодарить старика, а тот продолжал говорить о тяжёлых лесах, чужих руках и сроках. На большой работе нельзя распоряжаться временем другого мастера, как собственной доской, и нельзя испортить поло-

вину стены ради доказательства, что первая мысль была смелее остальных. От Андрея ждут не только дара, но и способности быть одним из многих.

— Я готов, — сказал Андрей и тут же пожалел о поспешности.

Прохор посмотрел на него без насмешки. Он видел, как легко человек уверяет другого в том, чего ещё не успел испытать. Попросил Андрея на следующее утро помочь Фоме с грунтовкой большого щита, а не садиться за свою икону. Андрей решил, что его нарочно испытывают. Он исполнил просьбу, но до обеда оставался угрюм. На щите вылезла маленькая неровность, которую Фома не заметил; Андрей уже хотел резко указать на неё, затем увидел, как юноша держится за поясницу после работы с тяжёлым деревом, и сам взял скребок. Исправили вместе. Вечером Прохор проверил поверхность, а об их разговоре не сказал ни слова. Андрей не знал, зачтено ли это молчание как похвала, и стыдился того, что вообще считал.

За несколько дней до этого Андрей стал замечать, как легко чужое ожидание меняет его собственную работу. Он выбирал из старых рисунков те, которые мог бы показать в Москве, и неизменно откладывал самые простые. Ему хотелось, чтобы будущие товарищи сразу увидели в нём мастера, способного на смелое решение. Даниил однажды нашёл эти рисунки сложенными отдельно и спросил, почему среди них нет рисунок образа Николая, который Андрей писал для Луки после пожара. Андрей ответил, что работа была скромная и другие мастера увидят в ней мало умения. Даниил не стал спорить, только напомнил, как бережно Лука держал образ, когда получил его. После разговора Андрей вернул маленький рисунок в общую пачку. Нельзя было строить своё имя только из тех работ, которые выгодно показывать чужому взгляду.

Другая тревога оказалась ещё неприятнее. Савватий, занятый приготовлением досок, начал спрашивать, кто займёт Андреево место, если того позовут надолго. Фома слышал эти разговоры и вдруг сделался особенно старателен: брал на себя ранние поручения, просил разрешения заканчивать небольшие части работы, нередко торопился и потому ошибался. Андрей сперва принимал эту поспешность за желание понравиться. Потом увидел, как юноша после службы сидит один над доской и молча соскребает неудачную линию, не решаясь попросить помощи. Андрей сел рядом. Они снова провели рисунок, не торопясь, а затем вместе вымыли инструмент. Фома о Москве не спросил. Закончив рисунок, он остался мыть инструмент, а Андрей помог ему убрать доску, которую завтра предстояло доверить уже другому помощнику.

Даниил узнал о возможном московском заказе от самого Андрея. Тот рассказал об этом во дворе, пока они относили остатки древесины к сараю. Даниил выслушал, аккуратно снял с плеча связку и поздравил друга без зависти. Андрей не мог не спросить, согласился бы тот поехать с ним. Даниил признался, что хотел бы: работа рядом с Феофаном и Прохором нечасто выпадает даже мастерам с опытом. Но прежде никто его не звал, а навязываться другому человеку он не собирался. Андрей впервые ощутил, что признание собственного имени может разделить людей, которые привыкли трудиться на соседних столах. Он решил просить Прохора назвать и Даниила, но тот отказался быть предметом просьбы. Если потребуется его рука, он будет готов; если нет — останется в мастерской, где от его труда тоже есть польза.

На следующий день Прохор долго стоял перед начатой иконой Андрея. Тот приготовил последние высветления на щеке, уверенный, что теперь хорошо понимает меру. Прохор предложил отойти к двери. С расстояния не сглаженный переход делал лицо строже, не давая глазу надолго задержаться на красоте письма. Андрей сначала хотел исправить, чтобы доказать совершенство руки, затем оставил кисть. Он не знал, верно ли это решение окончательно; важно было то, что он впервые смог выдержать неготовность, не уничтожая её поспешным мазком. Прохор увидел, что молодой мастер не тронул икону до вечера. Никакого признания он ему не выдал, но на следующий день сам предложил посмотреть доску ещё раз.

Перед отъездом Прохор достал старую икону неизвестного мастера. Завернул её в чистое полотно и протянул Андрею. Не в дар: до следующей встречи, чтобы тот мог возвращаться к ней всякий раз, когда станет слишком уверен в собственном решении. Андрей взял свёрток

осторожно, чувствуя под тканью неровный край и старую, хрупкую поверхность. Первое желание было обещать, что он никогда не испортит образ. Но Прохор и без обещаний знал: даже осторожная рука может повредить вещь, а грубая иногда спасает её от гибели. Они договорились только о том, что Андрей не станет переписывать древнюю икону, пытаясь повторить её случайные черты как новый обязательный образец.

Савватию гость оставил письмо для передачи, когда придёт ответ из Москвы. Они простились у ворот без торжественной речи. Прохор взял посох, поправил ремень дорожной сумы, оглянулся, проверяя, не забыл ли чего, и улыбнулся старику. Андрей провожал его взглядом до первой развилки. Он привык, что каждый учитель оставляет после себя фразу, которую можно повторять. Прохор оставил старую икону и незавершённую работу; так было труднее, но честнее. Перед глазами Андрея стоял даже не лик безвестного мастера, а рука Прохора, стирающая удачное высветление ради того, чтобы не любоваться собою.

В те дни Прохорова старая икона стояла у Андрея на особой подставке. Он не сразу привык к её присутствию. Собственная новая работа казалась рядом с нею слишком чистой, слишком уверенной; хотелось нарочно сделать краску глуше, чтобы придать лицу вид давней, проверенной временем правды. В конце концов Андрей отнёс доску к окну и заставил себя смотреть на неё отдельно. Подражать старому можно было не только линией, но и притворной старостью. Это оказалось ещё одной ловушкой, куда художник попадал из уважения к прежним мастерам. Он снова поставил старую икону на полку и занялся своей работой при дневном свете, сохраняя новому образу его собственную чистоту.

Однажды вечером пришёл Савватий и увидел, как Андрей бережно протирает тряпицей край старой доски. Старик остановил его: ветхий левкас уже отслаивался, и сухая ткань могла задеть краску. Вместе они накрыли икону мягким полотном. Андрей признался, что всё время боится не оправдать доверия Прохора. Савватий не стал его ободрять. Он сказал только, что порученная вещь не требует от человека особой мудрости — требует осторожности. После этого Андрей перестал ежедневно трогать её, проверяя собственное почтение. Поставил так, чтобы видеть лик, и оставил в покое. Прежние наставники учили его останавливаться перед своей работой; теперь приходилось учиться тому же перед чужой.

Письмо пришло через несколько дней. Савватий положил его на стол, пока Андрей растирал охру, и дождался, когда тот освободит руки. Лист был сложен просто, без большого приветствия. В Москве собирали артель мастеров для работы в соборе. Имя Прохора стояло рядом с именем Феофана; Андрей нашёл своё ниже и перечитал дважды, боясь принять желаемое за написанное. Срок ещё предстояло уточнить, но приглашение было настоящим. Пальцы у него дрожали, и на краю письма остался едва заметный след охры. Он хотел стереть его, прежде чем показать другим, однако Савватий удержал лист: лучше пусть молодой мастер видит, что даже радость о работе приходит с испачканными руками.

Фома первым начал собирать припасы, хотя Андрей ещё не решил, что именно повезёт. Кирилл проверил, можно ли взять лёгкую складную подставку, Савватий осмотрел дорожные кисти. Каждому нашлось дело. Только Даниил держался в стороне, продолжая свою работу. Андрей не хотел, чтобы радость отделила его от товарища. Он подошёл к нему после службы и спросил, не сердится ли тот. Даниил вместо ответа показал на незаконченную икону: здесь нужно было закончить руку святого, там поправить поле; работа не остановится оттого, что кого-то позвали в Москву. Андрей помог ему перенести доску к свету. Они просидели за ней до вечера, почти не вспоминая письмо.

Поздно ночью, когда все ушли, Андрей поставил на стол три вещи: старую икону Прохора, письмо и чистую дощечку для рисунка. В свете лампады они не складывались в красивое поучение. Древний лик был потемневшим и ранимым, письмо обещало труд, в котором Андрей ещё не пробовал своих сил, а новая доска раздражала белизной, будто упрекала его за каждую ещё не проведённую линию. Он понял, что боится не Феофана и не чужих замечаний,

а настоящего места среди людей, перед которыми нельзя притвориться мастером. Завтра ему снова придётся размешивать краску, помогать с лесами, принимать поправки, переделывать работу. Письмо не освобождало ни от одного из этих дел.

Даниил вошёл почти беззвучно. Некоторое время стоял у порога, заметив письмо и старый образ. Потом подошёл и сел рядом. Андрей сказал ему, что теперь страшно отправляться в Москву, и не стал объяснять причины: друг видел всё, что лежало перед ними. Даниил признался, что и сам испытывал подобный страх перед каждым большим заказом. Они не искали готового утешения. Один удерживал краешек доски, другой смотрел на светлую поверхность, и оба понимали, что дорога к собору не сделает их дружбу проще. На прощание Даниил пообещал дать ответ о поездке утром, если его тоже позовут; до тех пор нужно было закончить завтрашнюю работу. За стеной скрипнула створка ворот. Андрей погасил лампаду, прикрыл старую икону полотном и оставил письмо там, где его можно будет найти на рассвете.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
ОБРАЗЕЦ

Письмо из Москвы оставалось на столе, хотя Андрей уже знал его почти наизусть. Савватий велел убрать лист подальше от красок, и Андрей переложил его на полку с книгами; к вечеру письмо снова оказалось рядом с доской. Оно не обещало ни почестей, ни лёгкой работы. В нём перечисляли, когда надлежит прибыть, кому явиться и какие принадлежности приготовить. Но одно дело было читать своё имя среди прочих, а другое — проснуться на следующий день и продолжить обычный монастырский труд, зная, что скоро привычный порядок останется без тебя.

С утра Фома ждал у мастерской с двумя досками, приготовленными для грунтовки. Одна была ладная, сухая, с ровным волокном. Другую повело ещё осенью; под светом окна стало заметно, как выгнулась середина. Юноша надеялся, что Андрей выберет хорошую и поскорее отпустит его к своим рисункам. Андрей сперва потянулся именно к ней, но вспомнил, сколько времени Савватий потратил на вторую. Отложить негодную доску можно было без труда; гораздо сложнее было объяснить, почему никто не заметил недостатка прежде, чем на неё нанесли дорогой грунт.

Они вынесли доски на двор. Фома держал одну за край, Андрей проверял, как ложится она на ровную скамью. Из-под дерева вышла полоска света: край не прилегал. Пока юноша бегал за теслом, Андрей заметил в нём ту поспешность, которую недавно не любил в себе. Фома уже собирался снять лишнее дерево, не спросив, не станет ли от этого доска ещё тоньше. Андрей удержал его руку. Несколько минут они молча разглядывали волокна, потом позвали старого плотника, работавшего при обители. Тот посмотрел на них с усталой насмешкой и предложил совсем другое: не снимать дерево, а отложить доску в сухое место, чтобы проверить, не продолжит ли её вести.

Фома покраснел. Ему хотелось закончить поручение, а теперь оно снова откладывалось. Андрей тоже почувствовал досаду: день уходил на вещь, которой нельзя было похвастаться. Когда плотник ушёл, он помог юноше переставить доску на полку и привязал к ней лоскут с пометкой, чтобы никто по ошибке не пустил её в работу. Фома потирал озябшие пальцы и хмурился: день уходил, доска оставалась без дела.

— Возьмём другую, — предложил он. — А эту можно оставить.

— Другую возьмём. Только прежде отметь эту, чтобы никто не начал на ней писать, — ответил Андрей и подал ему лоскут ткани.

Юноша хотел возразить, но вместо этого пошёл за углём для пометки. Андрей поручил ему затем затопить печь. Объяснить всё можно будет, когда согреются и перестанут сердиться друг на друга.

К полудню принесли начатый образ святителя. Над ним Андрей трудился со времени приезда Прохора. Старик оставил рядом ветхий образ безвестного мастера; Андрей пытался

разобраться не в чужих чертах, а в том, почему на древнем лике даже неловкое движение кисти не выглядело случайностью. Несколько раз он принимался за новую работу, подносил к ней старую доску, замечал сходство и отступал. Теперь обе стояли перед ним, и это соседство стало невыносимым. На новом лице всё было чище, стройнее, ровнее. Но Андрей не мог вспомнить, какой человек просил именно такого святого и зачем сам он выбрал этот взгляд.

За окном разгружали воз с дровами. Один из работников, сорвав рукавицу, выругался и запрыгал на месте, прижимая ушибленный палец к груди. Остальные засмеялись; лишь старший подошёл, заставил его показать руку и, увидев кровь у ногтя, велел бросить работу. Андрей невольно проследил, как юноша, недовольный собственным бессилием, уходит к колодцу. В нём не было ничего возвышенного, но неловкость и досада, которые тот тщился скрыть, делали его совершенно узнаваемым. Андрей вернулся к доске. Он давно умел придать лику правильную строгость. Гораздо труднее было не сделать эту строгость пустой.

Он не стал переносить на святого черты ушибленного работника. Вместо этого проверил прежний рисунок: слишком ровная линия рта придавала лицу выражение, которого он не хотел, будто святитель заранее осудил всякого, кто подойдёт к нему. Андрей стёр небольшой участок углём намеченной линии и провёл его снова. Изменение оказалось почти незаметным. Теперь лик не стал ласковым, но в нём появилась внимательность. Андрей отодвинул доску, прошёл к двери и долго смотрел из полутьмы мастерской. Старый образ стоял сбоку; на этот раз сравнивать было незачем.

После трапезы Савватий пришёл забрать готовые заготовки и обнаружил, что одну доску вновь отложили. Выслушав Фому, он поссорился с Андреем из-за потраченного времени. Старик вовсе не считал всякую осторожность добродетелью: иногда, сказал он, человек прикрывает страх ошибиться заботой о порядке. Андрей не смог возразить сразу. Он и в самом деле провёл целое утро над деревянной поверхностью, которая могла оказаться безнадёжной. Но, показав плотнику выгиб, услышал от него, что спешная зачистка только усугубила бы порчу. Савватий взял доску, повернул её к окну, затем поставил обратно. Разговора о правоте не получилось: старик просто распорядился найти другую заготовку, раз эта будет лежать до весны.

Уходя, он задержался возле образа святителя. Андрей ждал обычного замечания, но Савватий лишь придвинул лампаду, чтобы на лицо падал иной свет. Посмотрел и поставил огонёк обратно. По тому, как неохотно он ушёл, Андрей понял, что старик увидел перемену. Позднее это молчание показалось ему более честным, чем готовая похвала. Но в тот же вечер он поймал себя на желании спросить, понравилась ли Савватию работа, и рассердился на себя за эту зависимость.

Письмо требовало собираться. Андрей пересмотрел свёртки с кистями, проверил ножи, приготовил охру и немного чёрной краски. Фома старательно принёс всё, что нашёл в мастерской, включая большие горшочки с порошком и тяжёлую каменную плиту. На полу выросла куча, которую нельзя было поднять вдвоём. Андрей хотел отругать его, но юноша так явно надеялся пригодиться, что ругань не помогла бы. Они разложили припасы по назначению: что можно получить в Москве, что необходимо в дороге, что опасно трясти в мешке. Лишнее Фома отнёс назад. Когда дело было окончено, перед Андреем осталась маленькая сума, а возле неё — старая икона Прохора, завёрнутая отдельно.

Над этой иконой он задержался дольше, чем над всеми кистями. Прохор велел беречь её и не пытаться переписать. Андрей уже нарушил вторую половину наставления: первые пробы были именно копиями, хотя он и убеждал себя, что изучает руку безымянного мастера. Некоторые вышли похожими, но ни одна не выдержала взгляда с расстояния. В старом образе была непривычная свобода; на новых досках она превращалась в выученную неровность. Андрей разложил рисунки и увидел, сколько сил потратил на след, возникший у другого человека из обстоятельств, которых он никогда не узнает.

В тот день к нему зашёл Даниил. Он принёс коробку с гвоздями, которые требовались плотнику для следующего заказа, и остановился перед разбросанными рисунками. Не стал спрашивать, зачем Андрей опять достал старую икону. Вместо этого приподнял один лист, где лицо святого было повторено особенно тщательно, и поднёс его к оконному свету. На листе тёмная полоска под глазом казалась смелым решением; возле подлинника выяснялось, что она чуть не туда направляет взгляд. Даниил вернул рисунок на стол и помог убрать остальные. Андрей понимал, что ему ничего не хотят доказать, но от этого становилось ещё досаднее.

— Я умею повторить линию, — сказал он наконец. — А человека за ней не вижу.

Даниил задержал ладонь на свёртке. Ему было знакомо это чувство: в чужой старой работе всё кажется неизбежным, а когда сам берёшь кисть, приходится выбирать даже малость.

— Покажи своего святителя, — попросил он.

— Он не закончен.

— Тогда и смотреть будет интереснее.

Даниил не собирался успокаивать друга готовыми словами. Он уже отнёс к окну пустую подставку, освобождая место, и оставалось принести доску.

Они поставили новую икону напротив входа. На фоне тусклого света лицо оказалось строже, чем Андрей видел у стола; оно не распадалось на отдельные искусно написанные черты. Даниил долго молчал, затем заметил только, что у святителя, кажется, хватит терпения дослушать человека до конца. Андрей покосился на него, готовый счесть слова насмешкой, но друг смотрел серьёзно. Впервые за несколько дней ему не захотелось сразу что-либо исправлять. Он накрыл образ чистой тканью и занялся другим делом.

На следующий день в монастырь привели старую женщину из соседней деревни. Её сын обещал пожертвовать в церковь образ, но слёг и теперь просил объяснить, можно ли получить икону прежде, чем он поправится. С нею пришла внучка, державшая небольшой узелок с полотном и сушёными яблоками. Старуха говорила мало, словно боялась попросить слишком многого. Савватий предложил выбрать один из готовых образов, но женщине было трудно объяснить, какого именно святого имели в виду в доме. Она путала имена, просила простить её неграмотность и всё время проверяла, не выронила ли узелок.

Андрей вывел их из тесной мастерской к храму, где свет был лучше. Женщина узнала образ Николая и расплакалась от облегчения: такой висел у них над дверью в доме её отца. Пока Савватий договаривался с церковным служкой, девочка рассматривала Андреевы руки, испачканные охрой, и спросила, отстирывается ли краска. Он показал ноготь, под которым осталась красная полоска, и девочка неожиданно улыбнулась. Старуха приняла образ обеими руками, даже не взглянув, насколько тонко написано лицо. Андрей остался у дверей, пока они уходили. Ему стало неловко за недавнюю привычку смотреть на икону прежде всего как на доказательство собственного умения.

Вечером он вернулся к святителю. Рядом лежала старая работа Прохора, в которой он прежде искал особую тайну письма. Теперь, после встречи со старухой, обе доски казались прежде всего вещами, которые человеку предстоит брать в руки, целовать, передавать детям, спасать из огня. Это не отменяло требований к мастерству; напротив, заставляло внимательнее выбирать дерево и краски. У древней иконы был сколот край. Андрей осторожно поправил под ней сложенную ткань, чтобы она лежала ровнее, и не стал проводить пальцем по старому левкасу. Нечего было испытывать её прочность ради собственного спокойствия.

Приготовления к дороге шли своим чередом. Фома спрашивал, кто теперь будет помогать ему с рисунком. Кирилл беспокоился о заказах, которые не успеют закончить до отъезда Андрея. Савватий пробовал скрывать беспокойство за ворчанием и всё чаще заходил проверить полки, где обычно работал ученик. Андрей обещал передать Фоме часть начатого дела, однако однажды увидел, что юноша пытается копировать его движение, не разобравшись, почему линия уходит именно так. Он сел рядом, попросил показать, где тот хочет положить

свет, и не выправил ошибку своей рукой. Фома раздражался, потом несколько раз попробовал заново. К вечеру линия у него получилась хуже Андреевой, но была своей; Андрей не стал её стирать.

Однажды, когда приготовления уже шли полным ходом, обнаружилось, что Фома самовольно взялся закончить край небольшого образа, оставленного Андреем под полотном. Юноша хотел помочь и освободить мастеру время. Когда Андрей увидел работу, его охватил гнев: тонкая линия ушла в сторону, а поверх прежнего цвета лежал свежий слой, который теперь трудно было снять без следа. Фома стоял у окна, не поднимая глаз. Андрей уже слышал собственный голос, каким обычно отчитывал его Савватий за небрежность. Но заметил, как у юноши дрожат руки, и заставил себя отойти к печи. Фома не должен был трогать чужую работу без дозволения; вместе с тем виноват был и Андрей, который оставил доску на общем столе и не сказал, что она ещё требует его руки.

Они не сразу нашли способ исправить неудачу. Андрей попробовал осторожно снять часть свежей краски на пробном краю и понял, что прежний слой ещё недостаточно крепок. Пришлось оставить доску в покое до утра, хотя это означало задержать обещанный заказ. Фома стоял рядом, готовый принять любое наказание, и впервые спросил не о том, хорош ли его мазок, а как объяснить хозяину задержку. Андрей велел ему принести чистую ткань и вместе с ним сходил к монастырскому служке, через которого передавали заказы. В разговоре он не стал возлагать вину на молодого помощника. Сказал, что сам не доглядел за работой и не отдаст икону, пока не будет уверен в её сохранности. Заказчику предстояло ждать, но не получать скрытый изъян.

На следующее утро Фома пришёл раньше службы, надеясь исправить всё самостоятельно. Андрей нашёл его возле закрытой доски и велел сперва отойти. Они разложили инструмент, проверили сухость прежнего слоя и только после этого занялись повреждённым местом. Теперь исправление было возможно. Оно потребовало нескольких осторожных движений и долгого ожидания между ними. Фома молчал. Когда работа наконец стала ровной, Андрей показал ему, где старый и новый мазки сошлись недостаточно точно, но не стал переписывать весь край ради собственной безупречности. Они оставили сохранившийся след, который не повредит ни изображению, ни его прочности. Фома спросил, можно ли считать работу хорошей. Андрей ответил, что сначала нужно дать ей высохнуть. Впервые юноша не обиделся на такой ответ.

Вечером Савватий узнал о случившемся. Старик помолчал, потом велел Фоме вымыть весь инструмент, а Андрея попросил остаться. Оба ожидали строгих слов; прозвучало лишь недовольство тем, что ни один из них не предупредил о задержке раньше. Монастырский заказ — не личное испытание мастерства, напомнил старик. В него вложены время других людей, их доверие и деньги, которыми им порой трудно расстаться. Андрей не стал спорить. Он и сам видел это на лице служки, которому пришлось объясняться с посланцем заказчика. Вернувшись к себе, Андрей впервые записал не только перечень припасов для Москвы, но и незавершённые монастырские работы, имена людей и то, кто за что отвечает. Письмо из столицы лежало рядом. Теперь оно перестало быть единственным делом на свете.

Они проводили вместе несколько таких вечеров. В мастерской пахло тёплым клеем и сушёной древесиной; ветер гремел ставней, а из двора иногда доносился стук ведра о сруб колодца. Даниил закончил заказанный ему небольшой образ и помог проверить работу Фомы. Никто не произносил речей о преемственности мастерства. Старшему приходилось держать лестницу, младшему — отмывать кисти, и обоим было не до красивых слов. Андрей впервые ощутил, что отъезд отделяет его не только от знакомого стола: его решения здесь будут продолжать другие руки, возможно, не во всём согласные с его собственными.

За два дня до дороги Савватий попросил взглянуть на образ святителя ещё раз. Андрей поставил икону возле окна. Старик долго проверял высветления, наклонился к подбородку, затем отошёл, как всегда заставлял делать других. Он заметил небольшую шероховатость на

поле: её следовало зачистить, прежде чем доска уйдёт к заказчику. Андрей уже хотел оправдываться, но Савватий просто дал ему нож. Поправка заняла немного времени, и после неё старик позволил закрыть икону. О лице они так ничего и не сказали. Андрей был благодарен ему за это: и без того слишком многое вокруг требовало последних слов.

Накануне отъезда Даниил помог связать суму и перевязать свёрток с Прохоровым образом. Работали при слабом свете, потому что лампаду берегли; за дверью иногда проходили братья, возвращавшиеся после поздней службы. Андрей задержался возле чистой полки, на которой обычно стояли его доски. Теперь их отнесли в другой угол. Чужое место не опустело оттого, что хозяин уезжал, — его уже начали занимать другие. Это простое обстоятельство кольнуло сильнее всех напутствий.

Даниил не собирался вместе с ним. Пока приглашение касалось только Андрея, Прохора и других названных мастеров; Даниил отвечал за незаконченные монастырские заказы. Андрей вновь предложил хотя бы попросить, чтобы его взяли помощником. Тот отказался без обиды. Прежде чем закрыть суму, он проверил узел на ремне и, заметив, что Андрей ослабил петлю, завязал заново. Потом попросил не забывать прислать весть, когда дело начнётся. О расставании они заговорили лишь у двери, где нельзя было остаться сидеть до рассвета.

— Если окажется трудно, скажи об этом, — попросил Даниил. — Не пиши только, что всё ладно.

Андрей посмотрел на его руки, испачканные той же охрой, что оставалась у него под ногтями. Они долго работали рядом и знали, сколько за одним удачным высветлением бывает испорченной краски и бесплодного упрямства. Он обещал написать без прикрас. На том и простились, хотя оба ещё несколько раз выходили во двор — один за забытым поясом, другой будто бы проверить, надёжно ли заперта мастерская.

Утром Савватий перекрестил Андрея у ворот. Фома подал дорожную суму, слишком долго придерживая ремень, словно надеялся, что мастер передумает уходить. Андрей отдал ему маленький нож для зачистки, которым они работали вместе, и велел не точить его поспешно. Юноша серьёзно кивнул; за его спиной уже слышались голоса братьев, распределявших утреннюю работу. Обитель не могла останавливаться из-за одного человека.

Дорога была ещё холодна. В лесных низинах лежал снег, по краям колеи блестела талая вода; выше, где солнце дотягивалось до земли, выступали чёрные влажные корни. Андрей несколько раз оглядывался, пока монастырские крыши не исчезли между стволами. Потом перестал. Он шёл с посохом, придерживая суму, и старался выбирать сухие места, чтобы не забрызгать свёрток со старой иконой. На привале вынул его только затем, чтобы убедиться, что ткань не отсырела, и сразу убрал обратно.

В тот день он не пытался решить, стал ли мастером. На дороге приходилось думать о другом: успеть до сумерек к жилью, найти воду, сберечь ноги, не дать деревянной доске набраться сырости. Когда стемнело, Андрей остановился у небольшой избы, где путникам позволяли переночевать на лавке. Хозяин попросил помочь принести сено, и Андрей снял суму, пошёл за ним. Поднимая тяжёлую вязанку, он почувствовал, как ремень режет плечо. Лишь тогда ему впервые пришло в голову, что в Москве никого не заинтересует, сколько раз он успел усомниться в себе. Там посмотрят на его работу — и на то, можно ли положиться на него рядом с другими людьми.

Ночью хозяин проснулся от стука в стену: ветер сорвал плохо прибитую дощечку у окна. Пока он искал лучину, Андрей вышел под холодный дождь и придержал ставню, чтобы та не билась о брёвна. Хозяин вбил новый колышек, потом подал гостю сухую тряпицу для рук. Они не спрашивали друг друга, кто чем занимается. На рассвете Андрей помог затянуть ослабшую верёвку на колодезном вороте и только после этого отправился дальше. За спиной уже стучал топор — хозяин собирался прочно поставить новую ставню. Андрей шёл к Москве, унося под одеждой ещё не успевшее согреться письмо и сухой свёрток с Прохоровой иконой.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
ДВЕ ПРАВДЫ

К Москве Андрей подошёл на исходе холодного утра. Дорога у ворот уже разбухла от воды: колёса тянули за собой тяжёлые полосы глины, прохожие выбирали сухие края и всё равно пачкали обувь до щиколоток. Возле городского въезда возчик пытался вытащить телегу из колеи; двое толкали сзади, третий подсовывал под колесо обломки доски. Андрей помог им надавить на обод. Когда телега выбралась, возчик хотел сунуть ему мелкую монету, но Андрей отмахнулся. На ладонях осталась мокрая грязь, и он долго оттирал её снегом возле забора, прежде чем вспомнил о собственных кистях, спрятанных в суме.

Москва не встречала мастера особым почтением. У лавок толкались люди, сырой дым висел под крышами, за деревянным частоколом кто-то колотил железом по железу. Женщина продавала тёплые лепёшки, укрывая их от пыли полотном; покупатели нетерпеливо теснили мальчика, который помогал ей считать деньги. Андрей чувствовал усталость дороги и неожиданное облегчение: здесь никто не знал, сколько ночей он думал о своём имени в письме. Нужно было найти подворье, где остановился Прохор, отдать принесённый свёрток и явиться к людям, уже занятым работой.

Прохор сидел возле окна, придвигая к свету узкую деревянную дощечку. Нож в его руке двигался почти бесшумно: старик выравнивал заусенец на краю подготовленного щита. На Андрея он взглянул не раньше, чем окончил движение. Потом отвёл нож и помог развязать суму. Древнюю икону принял особенно осторожно, будто важным было не то, цела ли она, а как Андрей научился держать хрупкую вещь. Обнаружив, что свёрток сухой, он снова прикрыл его, не устраивая осмотра на виду у посторонних.

Андрей принёс и свою новую работу — святителя, которого заканчивал перед отъездом. Прохор поставил доску на низкую подставку, попросил отойти к двери и несколько раз поменял место. С близкого расстояния всё было чисто: границы высветлений, тонкие линии возле глаз, складки на одежде. Издали лицо казалось непривычно сдержанным. Андрей надеялся, что старик сразу заметит найденную меру, но Прохор сперва показал на край поля, где грунт был недостаточно ровно зачищен. Андрею стало обидно, хотя он сам накануне заметил ту же шероховатость.

Они взялись за неё вместе. Прохор удерживал доску, Андрей осторожно проводил ножом вдоль края, не приближаясь к живописи. Старик говорил мало, зато не скрывал своей привычки проверять всё, что другой мастер готов счесть мелочью. Только когда поле было выправлено, он снова поставил образ у окна. На этот раз задержался перед ликом дольше и слегка наклонил голову. Андрей услышал сдержанное одобрение, но радость оказалась не такой, как он ожидал: её сразу вытеснила забота о том, как упаковать доску, чтобы доставить будущему владельцу без повреждения.

На следующий день Прохор повёл его к соборным постройкам. Они прошли через двор, где складывали лес и подносили камень, обогнули группу людей с вёдрами и остановились возле навеса. Под ним лежала известь, прикрытая от дождя. Феофан уже был там. Он стоял перед раскрытым коробом, подняв рукав одежды, и растирал между пальцами белый комочек. Поставщик, человек широкий, краснолицый, повторял, что привёз всё как было велено. Грек не повышал голос, и оттого спор выглядел ещё неприятнее. Он показал на крупные твёрдые зёрна в смеси, которые помощники не успели заметить. В сырой штукатурке такая крупинка могла позднее разрушить свежий слой.

Феофан велел отставить негодную часть и прислать другую. Поставщик шагнул к извести, готовый защищать каждый мешок.

— Погода плохая, подводы стоят, за перевоз уже уплачено. Что мне теперь с этим делать?

— Не стану класть негодное на стену, — ответил Феофан. Он разломил белый комок и показал твёрдую крупинку в середине.

Поставщик не нашёлся что возразить сразу. Возле них молчали работники, которым завтра предстояло класть новый слой. Андрей увидел, как один из молодых помощников незаметно убирает за спину миску, словно надеется, что расплата за испорченное ляжет не на него. Прохор вмешался прежде, чем спор дошёл до угроз. Предложил проверить привезённое по частям и оставить годное; негодное не пускать на ответственную стену. После короткого молчания Феофан согласился. Поставщик ещё ворчал, но уже помогал разгружать те мешки, которые решено было осмотреть заново.

Андрей следил не только за самой известью. Его удивило, что Феофан, которого он помнил стремительным и почти беспощадным, готов потерять полдня на спор о мелочи, невидимой зрителю. В монастыре подобное делал Савватий, и Андрею нередко казалось, что старик цепляется к пустякам. Теперь, увидев рядом с Феофаном помощника, который не умеет защитить свою работу от брака, Андрей почувствовал, насколько дорого может обойтись пренебрежение подготовкой. Работа над святым лицом начиналась не на высоте лесов, а здесь, в холодной сырости возле мешков и вёдер.

Феофан узнал его, когда отложил пробу. Спросил о дороге, о Савватии, о Данииле, но расспросы прервал сам: велел поднести доску с рисунками и показать, как будет видна фигура с противоположного края храма. Андрей взял свёрток, пошёл следом и едва поспевал за мастером, который, несмотря на седину и усталость, двигался быстро. Внутри было ещё прохладнее, чем во дворе. Возле стены стояли леса, доски скрипели под ногами рабочих, на полу валялись щепки; от открытой двери тянуло дымом и мокрой одеждой.

На подставке лежали пробные рисунки. Один мастер выполнил голову святого особенно старательно: глаза были глубоки, скулы округлы, свет на лбу положен с заметным умением. Андрей сразу понял, что лицо привлекает внимание, и, не подумав, похвалил его. Феофан ничего не сказал. Он только поднял рисунок к стене и отступил до середины храма. Андрей последовал за ним. С расстояния прекрасно написанные переходы почти исчезли, зато тёмная дуга брови неожиданно придавала святому выражение подозрительности. Вблизи это казалось живостью, издали — суровостью, которой художник вовсе не намеревался достичь.

Один из молодых мастеров, чья была работа, заметил их молчание и начал оправдываться: хотел написать лицо не плоским, но с настоящими человеческими чертами. Андрей почувствовал знакомое раздражение оттого, что чужое объяснение так напоминало его собственные доводы. Он взял уголь и предложил чуть изменить нижнюю линию века. На подложенном листе движение получилось лёгким, почти незаметным; у молодого мастера заблестели глаза. Феофан попросил повесить оба рисунка рядом. Теперь второй был красивее. Но когда в храм вошли работники с широкими досками и закрыли часть стены, выяснилось, что глаз зрителя снова цепляется за одну фигуру, теряя соседнюю.

— Ты сумел сделать лучше, — произнёс Феофан, показывая на поправку. — А нужно ли это здесь?

Андрей не ответил. Ему хотелось защищать работу не словом, а ещё одним исправлением. Он уже потянулся за углём, но Прохор, до сих пор молчавший, взял рисунки и переставил их ниже, туда, где могли стоять люди во время службы. В этом положении вторая голова сохраняла приятную мягкость, первая же удерживала строгий силуэт. Прохор не стал выбирать победителя. Он предложил художнику посмотреть ещё утром, при другом свете, прежде чем переносить линии на стену.

Раздражение не ушло даже за ужином. Андрей вспоминал руки молодого мастера, который так бережно вынес свой рисунок и теперь вынужден был слушать, как старшие указывают его недостатки. В чужой неудаче он узнавал собственную. Хотелось вернуться и доказать, что красивое лицо можно не приносить в жертву целому. Но рядом с этим желанием возникал другой образ — целая церковь, где будут стоять люди, не знающие имени автора каждой черты.

Они увидят не мастерскую и не спор троих художников, а законченный образ; у них не будет времени всматриваться в причины чьего-то решения.

В следующие дни работа шла одновременно в нескольких местах. Помощники поднимали тяжёлые щиты, растирали пигменты, готовили связывающие составы, сушили доски в стороне от сырого воздуха. Теснота и разная привычка мастеров давали поводы для ссор. Один из работников всё время ставил воду возле прохода; другой дважды задевал его ведро. К полудню разлили часть приготовленной краски. Феофан хотел найти виновного, но Прохор велел сначала убрать пол и проверить, не намокли ли нижние края рисунков. Андрей присоединился к ним. Поднимая свёртки, он увидел, как легко небольшая небрежность способна перечеркнуть чужую дневную работу.

Непростым оказалось и вмешательство людей, присланных от княжеского двора. Им нужно было видеть, что дело движется, и они спрашивали о сроках чаще, чем смотрели на сами рисунки. Один из них просил сделать праздничную фигуру нарядней, потому что на другом княжеском образе видел больше золота. Феофан уже приготовился ответить резко, но Прохор тихо показал человеку, что из нижней части храма излишняя позолота соединит две фигуры в одно пятно. Тот не сразу понял, зато потребовал показать место, откуда лучше судить о росписи. Его провели к противоположной стене. Когда он наконец ушёл, Феофан признал, что старик сберёг им целый день неприятных объяснений. Прохор на это лишь отмахнулся: завтра могли прийти новые люди с новыми желаниями.

Андрей видел, как Феофан возвращается к рисунку после каждой такой встречи. Его широкое движение кисти было не признаком беспечности, а последней частью решения, принятого задолго до мазка. Грек не всегда бывал прав: однажды он сам велел изменить положение руки святого и через несколько часов обнаружил, что потерял нужную связь с соседней фигурой. На глазах у помощников стёр исправление и начал снова. Андрей ожидал раздражённой насмешки над тем, кто посмеет напомнить об ошибке. Но Феофан только велел принести свежую смесь и, опираясь ладонью о стену, некоторое время смотрел на пустое место. Эта незащищённость перед собственной работой поразила Андрея больше любого наставления.

Прохор был устроен иначе. Он редко принимал решение под чужим взглядом. Подолгу держал рисунок на коленях, будто прислушивался к чему-то, недоступному остальным. Однажды Андрей застал его за исправлением старой линии, которую никто бы не заметил. Старик показал, как незначительное изменение ширины рукава освобождает место для руки соседней фигуры. Через полчаса он неожиданно вернул всё обратно: новая линия стала удобнее, но лишила изображение спокойствия. Андрей почувствовал почти облегчение. Прохор, оказывается, тоже не знал заранее, где кончится поиск.

В середине недели возник ещё один спор — уже не о красоте лица, а о том, кому позволено менять чужой рисунок. Молодой мастер из другой артели обнаружил, что кто-то сдвинул границу его участка на ширину ладони. Он подозревал помощника Феофана и говорил об этом так громко, что люди перестали работать. Изменение действительно было: проходившая рядом фигура оказалась тесно прижата к краю. Андрей видел, кто переставлял доску, но понимал, почему тот сделал это. На общем рисунке появилась нужная связь; на отдельном участке исчезало место, где молодой мастер собирался положить тонкую складку. Обе стороны были по-своему правы, и ни одна не желала уступать.

Феофан рассердился прежде всего на то, что работу остановили из-за выяснения старшинства. Прохор, напротив, попросил никому ничего не трогать, пока не принесут первый рисунок. Бумагу нашли под тяжёлым свёртком, развернули на сухом столе и положили рядом с исправленной. Стало видно, что ошибка возникла ещё до изменения границы: фигуры изначально были сведены слишком близко. Молодой мастер молча взял уголь и начал переводить линии на новый лист. Андрей увидел, с каким трудом человек делает это перед теми, кто только что слышал его гнев. Он сел с другой стороны стола и помог заново разметить пространство.

Когда рисунок был исправлен, никто не стал спрашивать, кто победил. Работникам достаточно было знать, где завтра ставить подставку.

Позднее Андрей встретил молодого мастера у колодца. Тот мыл руки с такой силой, будто хотел стереть не уголь, а собственное унижение. Андрей взялся за край тяжёлого свёртка и помог донести его до сухой кладовой, не заводя разговора о собственных неудачах. У двери мастер неожиданно признался, что в первый миг хотел испортить чужой рисунок назло, а остановило его одно: соседний участок писал человек, который ни в чём не виноват. Молодой мастер договорил и отвернулся к двери. Андрей задержался возле кладовой: после такого признания было бы неловко вновь учить его терпению.

На другой день они работали рядом без прежней неловкости. Молодой мастер сам попросил Андрея проверить, насколько видно его фигуру издали. Андрей встал у двери и увидел, что после исправления движение стало спокойнее, хотя прежняя складка исчезла. Он не похвалил товарища за послушание и не присвоил себе часть работы. Только указал, что у нижнего края линия снова уходит слишком круто. Тот поправил её сам. С тех пор Андрей внимательнее следил, прежде чем прикоснуться к чужому рисунку: даже правильное решение, сделанное без спроса, может стать началом ссоры, которая отнимет у людей больше сил, чем сама ошибка.

После нескольких дней неудачных проб Андрей принёс к храму два собственных рисунка. В одном святой был написан с большей телесной определённостью; другой казался суровее и спокойнее. Феофан, увидев оба, спросил, почему между ними нельзя выбрать. Андрей честно ответил, что в каждом теряет то, ради чего делал другой. Грек задержал взгляд на двух листах.

— Не смешивай их ради покоя, — сказал он. — Среднее между двумя ошибками не становится верным.

Андрей хотел возразить, но увидел, что Феофан указывает не на лицо, а на направление взгляда относительно соседней фигуры. Прохор поставил рисунки у стены и попросил отложить решение до утра. Андрей неохотно подчинился. За ночь бумага не изменилась, но утром он увидел на ней другое: обе головы смотрели не туда, куда вело движение всего изображения. Спор шёл о чертах, а ошибка скрывалась в самом направлении взгляда.

Он стёр часть линии и начал заново. Теперь работал без прежней поспешности. Несколько раз отошёл от стены, велел помощнику подержать рисунок выше, потом ниже, проверил, как падает свет. В какой-то момент юноша, державший лист, потерял терпение. Руки у него затекли, и он опустил рисунок прежде, чем Андрей успел закончить. Андрей уже хотел резко приказать поднять снова, но увидел красные полосы на ладонях и сам взял лист. Долго простоять так он не смог. Пришлось устроить подставку, на которой рисунок можно было проверять без чужого изнурения. Маленькая переделка заняла почти час, зато потом ею пользовались все.

К вечеру возникший лик стал не похож ни на первый, ни на второй вариант. Андрей не мог объяснить словами, чем он лучше. В нём осталась человеческая внимательность и вместе с тем исчезла чрезмерная настойчивость взгляда. Феофан посмотрел, перевёл глаза на соседнюю фигуру и не задержался возле исправленного лица. Сначала Андрей принял это за равнодушие. Только спустя несколько минут заметил: мастер впервые смотрел на весь рисунок, не возвращаясь к одному его месту. Это было немногим больше, чем молчание, но Андрею его хватило.

В тот же вечер пришло письмо из обители. Савватий сообщал о новых заказах и о том, что Даниила теперь тоже зовут в Москву для подготовительных работ. Андрей перечитал строки несколько раз. Первой была радость, второй — испуг. Здесь, среди людей, которые ещё не привыкли прощать ему ошибки, он старался держаться увереннее, чем чувствовал себя в душе. Даниил же увидит его сразу, таким, какой он есть: упрямым, нетерпеливым, иногда слишком жадным до похвалы. Отправив короткий ответ, Андрей задержался над письмом, пока

не погасла лампада. Он понял, что вовсе не желает представать перед другом безупречным мастером, — и всё же именно этого бессознательно боялся.

Даниил приехал спустя несколько дней, грязный, промёрзший, с тяжёлой сумой через плечо. Андрей встретил его во дворе и помог донести вещи в тесную комнату, где можно было переночевать. Они обнялись без длинных приветствий. После дороги Даниил прежде всего попросил воды, затем осмотрел свои кисти: несколько щетинок слиплись от сырости, хотя он заворачивал их старательно. Андрей хотел немедленно показать ему рисунки, но друг устроился возле огня и попросил сначала дать высохнуть одежде. От этой привычной обстоятельности тревога Андрея немного ослабла. Он всё-таки не удержался:

— Я тут кое-что испортил.

— Покажешь завтра, — отозвался Даниил, протягивая к огню промокшие руки. — Сегодня я скорее сам испорчу, чем помогу.

Андрей засмеялся — впервые после приезда без усилия.

Утром они пришли к храму вместе. Даниил прошёл вдоль подготовленных рисунков, долго смотрел, не спрашивая, где работал Андрей. Увидев две прежние пробы и новую, остановился возле них. Он не знал подробностей спора и потому удивился, что мастер, прежде добивавшийся особенно живых черт, теперь удержал руку там, где можно было сделать красивее. Андрей стал рассказывать, как спорил с Феофаном и Прохором, но обнаружил, что события невозможно пересказать без собственных оправданий. Он замолчал на полуслове. Даниил пододвинул к нему подставку и попросил показать, откуда будут смотреть на фигуру люди. Они отошли к двери, потом к противоположной стене. Андрей почувствовал знакомую лёгкость совместной работы: не нужно было защищать себя, можно было просто искать нужное расстояние.

Однако к обеду между ними возникло первое недоразумение. Даниил поправил положение свёртка, оставленного Андреем возле сырой стены, и тот раздражённо бросил, что уже знает, где хранить материалы. Друг ничего не ответил, только перенёс свёрток на сухую скамью. Вечером, когда из свёртка доставали листы, на нижнем оказался влажный след. Андрей увидел его первым и не стал делать вид, будто всё в порядке. Вместе они осторожно разложили рисунки для просушки. Утешать его Даниил не стал; в монастыре он и сам не раз ошибался от усталости. Но Андрей впервые ясно почувствовал, что боялся не замечания друга, а того, что тот будет прав при свидетелях.

В мастерской, где сушили рисунки, оставалась одна горящая лампада. Даниил держал край листа, чтобы не выгнулся, Андрей подложил под него сухую доску. Оба молчали. За стеной слышались шаги людей, возвращавшихся с работы, и скрип ворот, которые уже собирались закрыть на ночь. Когда последняя бумага легла ровно, Андрей признался, что весь день испытывал странное облегчение: наконец кто-то рядом знает, когда он притворяется. Даниил улыбнулся и ответил, что не собирается посвящать этому всё своё время — дел впереди слишком много. Они погасили свет и вышли во двор.

На следующий день Феофан и Прохор осматривали исправленный рисунок вместе. Феофан указал на линию глаза, Прохор — на рукав соседней фигуры; оба остались при своих замечаниях. Андрей уже приготовился вновь защищать найденное решение, но заметил, что старшие мастера обсуждают не его умение, а место фигуры на стене. Он подвёл их к противоположному краю храма. Там стало видно, что одна поправка мешает другой. Даниил, стоявший рядом, подставил доску под нужным углом, и все четверо несколько минут работали без слов. К полудню рисунок изменился ещё раз. Ни одна рука не могла назвать его целиком своим.

Когда работа на тот день закончилась, Андрей задержался перед начатой стеной. Следы угля, подправленные линии и ровные светлые места не напоминали ничего завершённого. Но теперь в них уже чувствовался порядок будущего изображения. Он вспомнил, как входил в Москву с тяжёлой сумой и боялся, что чужой взгляд обнаружит его недостатки. Недостатки

действительно обнаружились — в рисунках, в обращении с людьми, в спешке. От этого не стало легче, зато стало возможно работать. Андрей поднял с пола оставленную кисть, вымыл её и повесил сушиться рядом с остальными. Утром предстояло подниматься на леса.

За дверью Андрей встретил того молодого мастера, с которым они недавно спорили о границе рисунка. Тот нёс свёрнутый лист, прижимая его к груди от сырого ветра. Увидев Андрея, остановился и попросил наутро прийти раньше: хотелось ещё раз проверить верхнюю линию, пока не подняли свежую смесь. Андрей согласился. Даниил, шедший рядом, молча переставил чужую тяжёлую доску на сухой край настила, освобождая проход. Мастер поблагодарил его, и все трое разошлись без разговоров о том, чья правда оказалась вернее. На рассвете от каждого потребуется одно и то же: явиться вовремя и не подвести другого.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
ТРИ МАСТЕРА

Весной 1405 года Андрей вошёл в Благовещенскую церковь на великокняжеском дворе прежде других и остановился у побелённой стены. Возле неё уже стояли леса: на перекладинах лежала пыль, с одного настила свисала верёвка, под которой за ночь набралась небольшая лужа от вымытого инструмента. Узкие окна пропускали холодный свет. Он ложился на стену косо, обнаруживая каждую неровность, каждое место, где поверхность была ещё сыровата. Снаружи перекликалась стража, за оградой гремели возы. Андрей слышал город, но не смотрел в сторону дверей: перед ним была работа, которую уже нельзя было убрать с подставки и перевернуть лицом к стене.

К приходу Феофана он успел проверить настилы и обнаружил, что возле верхней перекладины одна доска ходит под ногой. Андрей позвал плотника. Тот нехотя поднялся, испытал крепление и признал, что клин за ночь ослаб. Пока его забивали заново, на узком проходе образовалась толчея: два помощника ждали, когда можно будет нести наверх воду и краски. Феофан застал их в ожидании. Увидев остановленную работу, уже готовился рассердиться, но осмотрел крепление и промолчал. Прохор, пришедший следом, первым делом убрал с прохода опрокинутое ведро. Андрей отметил про себя, что ни один из троих ещё не прикоснулся к рисунку, а день уже потребовал от них нескольких решений.

Роспись в храме поручили известным мастерам, но известность не освобождала их от зависимости друг от друга. Один отвечал за рисунок, другой за приготовление красок, третий должен был вовремя подать свежую смесь или перенести её наверх. Если помощник запаздывал, мастер терял тот час, когда поверхность была готова принять письмо; если мастер менял решение на ходу, всем остальным приходилось переделывать подготовленное. Люди, привыкшие к разной работе и разным учителям, пока только присматривались один к другому. Андрей видел, как каждый старательно охраняет свой участок настила, словно это отдельная мастерская, хотя внизу все линии должны были соединиться в единое изображение.

Прохор развернул большой рисунок и прижал его края деревянными планками. С утра он был молчаливее обычного. На листе намечались фигуры, линии одежд, архитектурные части; среди них оставались незаполненные места, о которых надо было договориться прежде, чем начинать перенос. Андрей указал на одну фигуру, слишком тесно подошедшую к соседней. Прохор передвинул планку, посмотрел издали и едва заметно изменил наклон головы. На близком рисунке это выглядело небольшой уступкой; на стене такая уступка освобождала пространство для руки и края одежды. Андрей хотел спросить, почему старик не сделал этого раньше, но увидел следы нескольких стёртых линий. Прохор и сам искал вчера то, что теперь казалось простым.

Феофан не любил затяжных приготовлений на виду у всей артели. Он мог стоять долго перед рисунком, но не терпел, чтобы люди, ожидающие решения, смотрели на споры мастеров. Когда двое молодых помощников начали шептаться за спиной, грек отправил их проверять кисти и воду. Потом подошёл к Прохору, молча передвинул рисунок повыше и попросил

Андрея спуститься к дверям. Оттуда все фигуры стали мельче, зато движение целого обнаружилось яснее. Излишняя выразительность одного лица могла бы задержать взгляд, а слишком слабая фигура пропала бы среди соседних. Они не вынесли окончательного суждения. Феофан велел оставить рисунок в этом положении до полудня и пройти мимо него несколько раз, не останавливаясь нарочно.

К полудню храм наполнился работой. Поднимали воду, разносили известь, перетаскивали доски с приготовленными красками. Над головами скрипели настилы; оттуда то и дело звали помощников. Утренний покой исчез, и Андрей понял, что теперь не сможет работать, постоянно прислушиваясь к собственной мысли. Ему поручили участок, который следовало связать с уже намеченными соседними фигурами. Он проверил линии, дождался, пока помощник принесёт нужную краску, и начал. Несколько раз рука шла увереннее, чем мысль; приходилось останавливаться и всматриваться не в один лик, а в то, как он держится среди других.

Настоящая беда возникла не от чужой помехи. Когда Андрей закончил первые высветления на лице святого, ему показалось, что он наконец добился желанной глубины. От тёмного основания к светлым местам переходы шли мягко, скула не была плоской, глаз располагался в живом лице. Он невольно вспомнил первый снег возле монастыря, дровосека за окном, недоверчивый взгляд Савватия. Столько лет он учился именно этому. Теперь сложная работа удавалась без прежней борьбы с кистью, и радость от умения оказалась сильнее усталости. Андрей задержался на настиле дольше обычного, поправляя то, что уже не требовало поправки.

Снизу его позвал помощник. Приготовленная смесь оставалась без дела и начинала густеть. Андрей велел добавить немного воды, не спуская глаз с лика. Когда позднее он увидел, что краска стала слишком жидкой, сердито спросил, почему её испортили. Юноша ответил, что исполнил приказ. Разговор оборвался, едва Андрей заметил стоящего рядом Прохора. Старик слышал всё, но не собирался разбирать виноватых. Он поднялся на настил, попробовал краску на отдельной доске и велел заменить смесь; затем попросил Андрея посмотреть на лицо снизу, прежде чем писать дальше. Испорченная чашка была малая потеря, однако Андрей не мог отделаться от стыда: увлёкшись удачным местом, он заставил другого расплачиваться за собственную невнимательность.

Снизу лик оказался ещё красивее. Он словно выступал из стены, держал внимание, не позволяя глазу двигаться дальше. Андрей сначала принял это за победу. Потом заметил, что на соседнюю фигуру никто из рабочих даже не смотрит. Они останавливались именно перед его лицом, обсуждали мягкую тень возле глаза и забывали, какое место святой занимает в изображении. Прохор ничего не приказал уничтожать. Попросил лишь подойти к противоположному краю храма. Там оказалось, что лицо не объединяет соседние фигуры, а отделяется от них — слишком настойчиво живёт собственной жизнью.

Андрей поднялся назад. Вблизи недостаток снова исчез. Кисть словно сама просила сделать ещё одно тонкое высветление, ещё раз помочь коже стать живой. Он отложил её и посмотрел вниз, где люди продолжали работу. Прохор уже был занят другим участком; у него не было привычки стоять над чужим решением. Но Андрей видел, как старик невольно всякий раз отводит взгляд к соседним фигурам, будто проверяет, не потерялась ли связь. Ему стало досадно на самого себя и на Прохора, который не дал прямого приказа. Приказ освобождал бы от выбора. Теперь отвечать предстояло самому.

К вечеру Феофан взошёл на леса. Посмотрел на написанное лицо издали, затем вплотную, с явным интересом мастера. В отличие от Прохора, он оценил смелость письма: такая рука, заметил он, могла бы убедить человека, что перед ним действительно живой святой. Андрей почувствовал, как горячая радость от признания поднимается к горлу. Но грек уже перевёл взгляд на соседнюю фигуру и помрачнел. Ему не требовалось объяснять, что произошло. На одном участке мастер достиг слишком многого и тем лишил силы другой. Феофан не

смеялся над чужой ошибкой: недавно он сам уничтожил несколько удачных линий на своей стене, когда понял, что они увели изображение от нужного движения.

— Не торопись ни беречь, ни снимать, — сказал он. — Утром посмотришь ещё раз.

— А ты бы оставил? — не выдержал Андрей.

Феофан посмотрел на него с усталым удивлением.

— Моего взгляда тебе не хватит. Твой лик, тебе и отвечать. Я свой участок уже испортил не раз.

Андрей остался на настиле, пока не ушли последние помощники. Из храма вынесли доски и воду, сверху спустили пустые чаши. Тишина вернулась не сразу: под сводами ещё долго отзывались шаги и удары закрываемых дверей. Он спустился, сел у стены, откуда было видно написанное лицо, и заставил себя ждать. Теперь, когда свет уходил, исчезали как раз те мягкие переходы, которыми он гордился. Оставались силуэт, направление взгляда, светлый лоб и большая тёмная масса рядом. В сумерках соседние фигуры чуть вернули себе место, но Андрей знал: при полном свете спор начнётся вновь.

Ночью он спал плохо. Не потому, что боялся порицания Феофана, а потому, что уже представлял, каким станет лик после исправления, и жалел красоту, которую предстояло потерять. Прежде он считал искусством движение к более совершенной линии. Теперь от него требовалось отказаться от достигнутого не вследствие неумения, а из уважения к целому. Это раздражало почти физически. Хотелось спросить у старших, неужели нельзя сохранить удачу и заставить остальные фигуры подняться до неё. Но в этом желании уже скрывалась новая несправедливость: вся артель должна была переделывать работу ради одной головы, которой слишком залюбовался Андрей.

Утром он пришёл раньше Феофана и Прохора. Поверхность за ночь изменилась, оттенки стали суше и глуше. Андрей проверил, где можно осторожно смягчить переход, не разрушая основного слоя. Перед тем как взять кисть, он снова спустился к двери. Потом поднялся и снял то, что ещё вчера казалось главным достоинством лица. Работа оказалась тяжелее первоначального письма. Он мог бы одним уверенным движением перечеркнуть весь свет, но хотел сохранить живость, которая возникла не зря. Убрал самую глубокую тень у глаза, сократил мягкий переход по скуле и изменил направление последнего светлого мазка. Когда отступил, лицо уже не требовало, чтобы на него смотрели первым.

Прохор увидел перемену, когда пришёл проверять подготовленные краски. Поднялся на настил, обошёл Андрея, взглянул издали и кивнул так скупо, что младший мастер едва не рассмеялся. Феофан, появившийся позже, остановился у двери и посмотрел на всю стену. Андрей ждал суждения, но грек спросил, почему внизу всё ещё стоит ведро, перекрывающее проход. Прохор уже спускался, чтобы убрать его. Они не сделали из Андреева отказа особого события. Работа продолжалась, и это оказалось лучшим доказательством, что прежняя ошибка больше не мешает.

Дни стали похожи один на другой, однако одинаковыми не были. В один день помощник задержался с подготовкой нужного слоя, и мастер не успел закончить назначенное до вечера. В другой Феофан остановил работу, заметив сырость в неожиданном месте. Андрей научился заранее проверять, какая часть стены готова, и не обещать большего, чем может исполнить. Иногда приходилось принимать неприятное решение: оставить красивую, но непригодную пробу и вернуться к первому рисунку. Иногда, напротив, уже намеченная линия вдруг становилась лишней после того, как соседняя фигура получила своё место.

Труднее всего было работать среди людей, чьё мастерство не вызывало сомнений. Андрей видел, как Феофан однажды без колебания снял почти готовое письмо с отдельного участка, потому что свет не совпал с соседней частью. Но вечером, когда мастера разошлись, грек долго сидел на ступени, массируя пальцы, и не хотел ни с кем говорить. Прохор тоже не был непогрешим. Он однажды неверно рассчитал место для широкой складки и исправлял её при свидете-

лях, пока не отыскал необходимую меру. Андрей впервые увидел, что опыт старших заключён не в отсутствии ошибок, а в готовности не украшать их объяснениями.

Был день, когда почти всю работу пришлось остановить из-за маленького пятна на стене. Сначала его приняли за тень от лесов: серый след появлялся только при боковом свете. Андрей заметил, что утром он стал шире. Один помощник уверял, будто виновата краска, другой — сырость, оставшаяся от ночи. Феофан велел не продолжать письмо, пока не разберутся. Снизу это распоряжение показалось жестоким: у мастеров был готов рисунок, люди с рассвета растирали нужные цвета, работа могла продвинуться далеко. Теперь им приходилось стоять и ждать, пока самый опытный из старших снова прикоснётся к стене ладонью и принюхается к сырому слою.

Прохор подозвал работника, который готовил поверхность. Тот оказался пожилым человеком с потрескавшимися пальцами и сразу побледнел: в неудаче могло оказаться виновато всё его семейство, потому что на подготовке помогали и сыновья. Андрей увидел, как нетерпение мастеров давит на работника сильнее любого крика. Он попросил принести воду и отдельную пробу смеси, приготовленную в тот же день. При свете обнаружилось, что один небольшой участок напитался влагой из неверно закрытого сосуда; виноват был не один человек, а общий беспорядок у стены. Сосуд переставили, повреждённое место оставили просохнуть. Остальные мастера разошлись к другим участкам. Феофан не потребовал наказать никого. Он только обернулся к старшему работнику:

— Завтра у воды должен быть свой человек. Не десять хозяев у одного сосуда.

Тот кивнул с видимым облегчением. По-новому распределили, кто следит за водой и за тем, что оставляют на настилах после работы.

Андрей весь день возвращался мысленно к лицу пожилого работника, когда тот ждал приговора. Он и сам ещё недавно сердился на помощника за испорченную краску, забыв, чей приказ привёл к ошибке. Вечером нашёл мужчину во дворе: тот сидел на чурбаке, осторожно разминал уставшие пальцы. Андрей сел рядом, предложил кусок хлеба и спросил, давно ли он работает с известью. Оказалось, всю жизнь, с той поры, когда отец впервые взял его на стройку. Он мог по запаху отличить хорошую смесь от испорченной, но в тесноте общего дела его никто не спрашивал. Андрей не стал обещать, что теперь всё изменится. Наутро просто велел молодому помощнику прежде трудного дела позвать старика и показать ему приготовленный сосуд. Это распоряжение никто не заметил как особую заслугу, но новая ошибка не повторилась.

За несколько таких дней Андрей понял, что большая работа испытывает не только глаз и руку. Храм постепенно принимал на себя усилия людей, чьих имён не назовут рядом с именами Феофана и Прохора. Один носил воду, другой держал тяжёлую доску, третий по просьбе мастера переделывал едва заметную линию. Приходилось решать, ради чего допустимо задерживать их труд и когда настойчивость художника перестаёт быть заботой об образе. Эта тяжесть не мешала живописи; она входила в неё незримо, как опора лесов, которую потом уберут, и никто не станет думать, почему стена осталась целой.

Даниил выполнял порученную ему подготовительную работу, помогал с рисунками и постепенно получал всё больше самостоятельных дел. Он не пытался вести Андрея за руку, хотя видел его трудности яснее прочих. Однажды их назначили проверять соседние участки. Андрей хотел добиться ровного движения одежд, Даниил считал, что линия уже достаточно спокойна. Оба были утомлены и привыкли доверять собственному взгляду.

— Ты хочешь, чтобы весь край повернулся к твоей фигуре, — сказал Даниил, удерживая рисунок.

— А ты хочешь оставить его как есть, потому что уже устал переделывать, — ответил Андрей резче, чем собирался.

Даниил отпустил край листа. Андрей ушёл, не согласившись и чувствуя, что задел товарища не только словами о работе. Позднее, когда рабочие подняли к стене доски, он увидел,

что Даниил всё-таки прав в одном месте, а сам он прав в другом. Пришлось вернуться, попросить товарища о помощи и вместе исправить рисунок. Они работали молча, пока не стало ясно, где уходит лишняя складка. Ни тот, ни другой не потребовал признания победы.

Весенние дни сменились тёплыми. Во дворе стало больше пыли, на лесах сильнее пахло прогретым деревом. Деревянные чаши с красками приходилось накрывать внимательнее. Во время коротких передышек Андрей выходил на воздух и садился на скамью возле стены. Иногда к нему подсаживался молодой помощник, тот самый, которого он однажды напрасно обвинил в испорченной краске. Парень оказался из деревни неподалёку от Москвы; его отец был плотником, а мать продавала на торгу полотно. Он не мечтал стать знаменитым иконописцем. Хотел научиться писать так, чтобы его брали на работу и чтобы зимой в доме было достаточно хлеба. Андрей слушал и понемногу начинал замечать, сколько разных надежд держится на одном заказе.

Однажды помощник не пришёл вовремя: в доме заболела младшая сестра. Старший работник сердился, грозил удержать плату, и никто не хотел слушать объяснений. Андрей вспомнил собственный гнев у стены. Он попросил дать юноше один день, а недостающую работу разделить между теми, кто свободен после обеда. На словах предложение было лёгким; в действительности ему самому пришлось остаться дольше и перетаскать несколько тяжёлых досок. К вечеру он едва держал кисть. Но на следующий день помощник вернулся и, не произнося благодарственных речей, первым принялся мыть чаши и убирать настилы. С тех пор Андрей иначе смотрел на время людей, которых прежде называл просто помощниками.

Работа разрасталась, затем медленно сжималась к завершению. Утром составляли список необходимого, вечером перечёркивали выполненное. В него входили не только изображения: требовалось проверить золочёные места, исправить края, снять случайные пятна, не забыть о том, что зритель увидит снизу. Андрей всё чаще спускался со своего настила и смотрел на храм целиком. На стене нельзя было оставить чужую небрежность только потому, что сам ты писал рядом хорошую фигуру. Несколько раз он помогал исправить линии, к которым не имел прямого отношения, и однажды обнаружил, что не помнит, где именно проходила граница его участка. Это было непривычно и, как ни странно, освобождало.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.